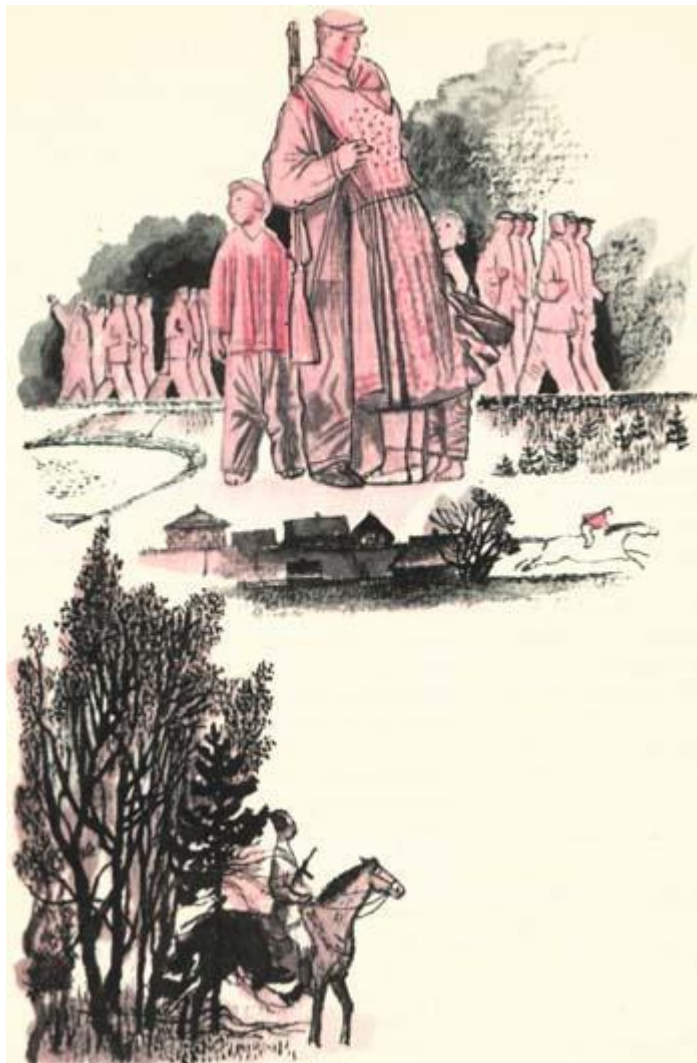


Алексеев О. Горячие гильзы



ОТ АВТОРА

Моё детство прошло в сердце псковской земли, в самой её глубинке — среди холмов, лесов и озёр. Глухой, но густонаселённый наш край стал в войну партизанским. На борьбу с оккупантами поднялись все, кто мог воевать.

Фашисты бросали против партизан отборные части, сжигали деревни, убивали и мучали людей, но поставить их на колени не смогли — началось настоящее народное восстание. В нашей стороне враги считали партизанами и тех, кто не носил оружия, подозревали в противоборстве всех — взрослых и детей. Мы, мальчишки, изо всех сил старались помочь партизанам в их опасных делах, хотя старшие всячески пытались уберечь нас от тягот и ужасов войны.

Победа далась партизанскому краю самой дорогой ценой: в войну на псковской земле погиб каждый третий. Люди помнят павших поимённо, в сельсоветах, в школьных музеях хранятся списки погибших и угнанных в неволю — свидетельства беспримерного подвига.

На месте моей деревни, спалённой карателями, до сих пор огромный пустырь. Таких деревень, от которых остались лишь названия, — сотни. В бывших своих окопах, ставших могилами, лежат тысячи партизан — на вершинах холмов, под самым небом.

Я ничего не придумал, изменил лишь имена людей и названия ряда деревень. Главный герой этой повести вообще не имеет имени: мне не захотелось выделять никого из моих сверстников — судьба у всех нас была одинаково сложна и тяжела. Назовём нашего героя так: Мальчик из партизанского края.

С любовью и уважением посвящаю эту повесть своей матери — Валентине Ивановне Алексеевой.



ОСКОЛКИ

Лето было солнечным и жарким. На ёлках таяли наплывы смолы, раньше обычного вызрела земляника.

Моему брату Серёге только что исполнилось четыре года, мне шел уже восьмой, и в сентябре я должен был пойти в школу. Отец с матерью работали в колхозе, а жили мы в тихой северной стороне, в маленькой — всего в семь домов — деревушке. Рядом было озеро, за озером стоял лес, густой и сумрачный. Весной на опушках и гарях токовали тетерева, в огороды забегали палевые зайцы. В потаённых береговых норах — отец это знал точно — таились хищные выдры. Ружей в деревне было не меньше чем ухватов. В то утро мы с братишкой сидели на камышовой крыше сарая и смотрели на приозёрный луг. По лугу, врубаясь в заросли травы, медленно двигались косари. Наш отец шёл первым; было хорошо видно его белую полотняную рубаху. За отцом уступом двигались остальные косцы. Последним, как обычно, плёлся почтальон Антип Бородатый. Он никогда не спешил, даже если нёс срочную телеграмму. Светлели рубахи и косынки, потетеревиному шипели косы...

Когда надоело смотреть на косарей, я повернулся, стал смотреть на деревню. Три дома стояли на самом берегу озера; в них жили Огурцовы, Фигурёнковы и Тимофеевы. Ближе к лесу, чуть на отшибе, ещё два дома: наш и Антипа Бородатого. В лесу с трудом можно было разглядеть крышу глинобитной пекарни; рядом с пекарней жили Андреевы. В глубине леса терялся ещё один дом — лесника Ивана Павлова с семьёй из шести человек. Окна дома смотрели на речку Лученку, делившую деревню на две почти равные половины.

Возле нашего дома стояла высокая берёза, возле дома Тимофеевых — ёлка, похожая на стог сена. Озеро и деревню со всех сторон окружали холмы.

Утро стояло чистое и погожее. Солнце горело, будто порошок. Над озером ярко голубело небо. Пахло молодым сеном. Мы с Серёгой ждали, когда наконец высохнет роса и косари вернутся в деревню. Отец обещал взять меня и Серёгу на озеро ловить раков, в такой день в воде видно каждую травинку.

— Идут! — выдохнул вдруг Серёга.

Словно со снежной горы, мы скатились с крыши, весело пробились сквозь заросли лопухов.

Косари вышли на берег сонного озера, свернули на просёлок и вскоре растеклись по деревне. Отец с матерью шли под руку; отец нёс на плече две косы.

Повесив косы под навесом, отец вынес из дома решето, позвал нас с Серёгой. Мы наперегонки бросились к берегу озера. Я было опередил братишку, но отец успел поймать меня за рукав, придержал, и Серёга первым, пыхтя, вылетел на берег.

Пахло илом и водяными огурцами, покачивалась на воде пегая от жестяных заплат комья — две долблёные лесины, стянутые болтами. На песке валялась деревянная лопата, какими обычно сажают в печь хлебы. Отец стащил через голову рубаху, бросил на песок штаны, остался в чёрных сатиновых трусах. Он вычерпал из комья воду, усадил нас с Серёгой, подал мне решето.

Потом мы отъехали за кромку камышей. Отец грёб лопатой, словно бы копал воду. Мы с Серёгой сидели не дыша. Наловить раков снастью — дело нехитрое, а наш отец умел ловить раков руками. Руки у него были удивительно ловкие и сильные: всё, что он ни делал, выходило быстро и ладно. Я любил смотреть, как отец отбивает и точит косы, плетёт или чинит сети, заряжает патроны для ружья.

Дно озера было песчаным, и вода в нём от этого казалась золотой. В зелёных прутьях камышей дремали латунные линии. Под корягами пряталась темнота. Там и были раки. Отец шумно нырнул, уцепился за огромную корягу. Он смешно двигал ногами, и волосы отца развевались, будто подводная трава...

Вынырнул, бросил в решето крупного тёмного рака. Отдышался и снова ушёл под воду; вытащил сразу пару страшилищ, снова швырнул в решето. Раки таращили глаза, испуганно двигали усами, щёлкали клешнями, словно ножницами.

Отец нырнул в глубину, туда, где смутно темнели камни; по воде потянулась цепочка пузырьков, разбежались и погасли круги...

Рак оказался большущим, занял полрешета сразу, и, увидев такого великана, остальные наши пленники пугливо попятились. Отец тяжело дышал, словно прошёл трудный покос. Тело у отца было белым, как молоко, только лицо и руки коричневые от загара. По плечам скатывались горящие на солнце капли воды.

— Кто это? — встрепенулся на корме комья братишка.

По берегу рассыпался стук подков, в разрыве кустов мелькнула белая рубаха и гнедая грива. Конь остановился, и наземь прыгнул мой друг Саша Тимофеев — остролицый, белоголовый, лёгкий. Он кубарем скатился под берег, залетел по колено в воду, закричал не своим голосом:

— Ва-а-ай-на! Ва-а-ай-на!

Отец мигом забрался в комягу, схватил в руки деревянную лопату, начал грести изо всех сил.

На берегу первым, как всегда, оказался Серёга. Схватил ивовый прут, помчался, размахивая им, будто шашкой. Вот и наш дом. Мать стояла около косотына, развешивая на нём для просушки чисто вымытые оранжевые кринки.

— Ва-а-ай-на! — заорал подлётевший к матери Серёга.

Мама вздрогнула, кринка бесшумно выскользнула из её рук, и по земле рассыпались яркие черепки...

Вечером мы с отцом ставили сети; крикали в камышах дикие утки, над плёсами вился туман. Не верилось, что где-то бьют пушки, рвутся мины и снаряды. Отец медлил: видимо, он думал, что ставит сети в последний раз. Лицо отца от зари казалось огненным...

Берегом плелись, возвращаясь из леса, два моих ровесника и товарища — Саша Андреев и Саша Тимофеев. Как обычно, они дразнили друг друга.

— Жоров (журавль по-местному), — сердито прошипел Саша Андреев.

— Калист (аист по-местному), — живо отозвался Саша Тимофеев.

— Жоров, жоров! — полетело в ответ.

— Калист красноносый! — не сдавался Саша Тимофеев.

Тощие и долговязые, мои дружки и впрямь напоминали журавля и аиста.

Прежде я сердился, когда они дразнились, но теперь почему-то обрадовался. Повеселел и отец, улыбнулся краешком губ.

Наутро по дальней дороге долго шли зелёные военные машины. Около леса остановился цыганский табор, цыгане были хмурыми, как и все люди вокруг. Мать отнесла цыганам целое ведро молока.

Отец надел вышитую рубаху, обулся в новые сапоги, положил в мешок три осьмушки махорки, буханку хлеба и луковицу, поцеловал Серёгу, потом меня, потом притихшую мать.

— Пап, а раки? — спохватился братишка.

Я бросился в чулан, притащил корзинку, в которой уже вторые сутки томились озёрные чудища. Отец развязал мешок, пересыпал в него раков. Мешок шевелился, будто живой.

— Я вернусь, ждите. — Отец порывисто обнял нас с Серёгой.

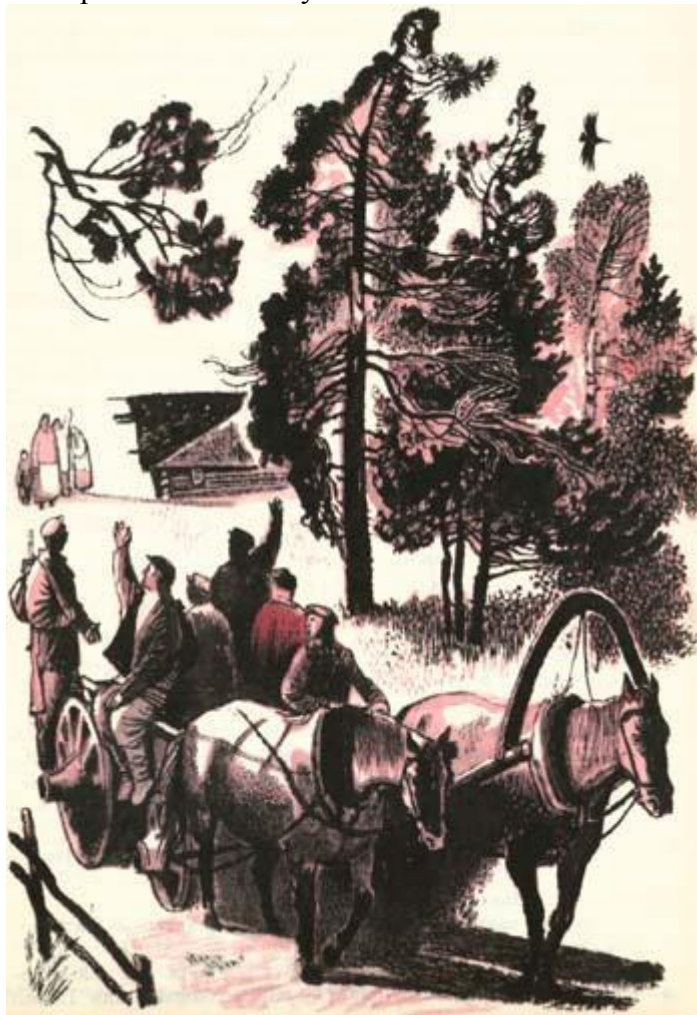
— Скоро? Завтра? — оживился братишка.

— Нет, не завтра... На нас напали фашисты, их остановить надо.

Возле ёлок стояла готовая в дорогу подвода. На ней сидели те, кто решил идти на фронт добровольцем: дядя Павел Андреев (двоюродный брат моей матери), Анисим Огурцов, Павел Фигурёнков, Иван и Степан Тимофеевы, Иван Павлов.

Добровольцем шёл в армию и мой отец.

Плакали женщины. В стороне стояли испуганные мальчишки.



Иван Павлов взял в руки вожжи, глянул на нашего отца.

— Пешком решил, что ли?

— Пешком... Прямой дорогой, по просеке. Хочу на лес посмотреть, на наши места...

— Я провожу тебя. — Мать взяла отца под руку.

— Не надо. Один побыть хочу. Смотри за мальчишками.

Отец шёл опушкой и всё оглядывался. Тропинка пробивалась сквозь заросли иван-чая, и казалось, отец идёт по огню. Фигура отца становилась всё меньше, пока совсем не растаяла в мареве...

Всё вокруг было как прежде. Тишина стояла такая, что я слышал, как в лесу перепархивают с ветки на ветку рябчики. Слепило светом озеро. Чернела на отмели отцовская комяга.

Около нашей изгороди, глянув под ноги, я увидел оранжевые черепки. Встал на колени, принялся их складывать, но осколки почему-то не подходили друг к другу, кринка снова и снова рассыпалась...

ВРАГИ — РЯДОМ

Все вокруг говорили о войне. Мне передалось волнение взрослых, передался их страх. Мы с Серёгой даже в лес ходить перестали. Нас пугало молчание озёр, пугали высокая трава и рожь: казалось, в них кто-то прячется. Страх жил во всём: в огненных закатах, в криках ворон, в уханье филина.

Прежде, когда не было войны, по вечерам на опушке леса горели костры, шумело гулянье. Ночи в эту пору были такие светлые, что можно было, не зажигая огня, читать книгу. Я любил это время: лето было огромным весёлым праздником...

Война принесла тревожную тишину: нигде не слышалось смеха, никто не пел, не стало ни костров, ни гуляний.

Стоял знойный июльский день. В полдень начали стоговать сено. Главную работу делали женщины. Мы, мальчишки, как могли, им помогали. Свесив ноги, я сидел на возу сена, похожем на зелёное облако, резко натягивал вожжи, покрикивал на буланого белогривого мерина. Вдруг всё вокруг загудело. Танки, машины?.. Я оглянулся, но на поле были лишь лошади и люди. Взгляд упал на озеро, и совсем близко, около самого берега, я увидел отражение самолёта. На крыльях его чернели кресты, обведённые жёлтым, на хвосте змеилась свастика.



В ужасе я поднял голову: самолёт был так близко, что я увидел сквозь шлем и лицо лётчика. На концах крыльев были оранжевые разводы; казалось, самолёт охвачен огнём. Взревел мотор, мерин от страха понёс, воз развалился, и вместе с сеном я покатился под берег. Побежал не к деревне, а от деревни. Люди выпрягали коней, собирали вилы и грабли. Я повернул назад и вместе со всеми заспешил к деревне.

— Летит! Летит! — закричал кто-то из женщин.

Я подумал, что летит ещё один самолёт, но это был снаряд — смутное тёмное пятно. Грохнуло, копной поднялась земля, выбитая взрывом. Война оказалась уже совсем близко, и от неё надо было прятаться. Наша мать собрала самые нужные вещи, увязала в два узла, перебросила их через плечо, подхватила на руки Серёгу. Мне тоже было кого спасать: я стащил с лавки дремавшего на ней кота Ваську. Кот наш любил сливки и сметану и мог спать целыми днями. Лежит на плите, плита становится всё горячей. Васька уже дымит, вот-вот вспыхнет. Столкнёшь — шлёпнется об пол, как подушка, и опять уснёт...

Кот оказался тяжеленным, но я не мог бросить товарища, тащил из последних сил.

Люди — все жители деревни — бежали к лесу. Последними были мы с Василием. Вот наконец и ёлки. Я выпустил кота, Васька рухнул под куст и тотчас свернулся клубком. Женщины решили копать убежище — под крутым берегом речки Лученки. Кто-то сбегал на мельницу, которая была рядом, принёс лопаты. Грунт оказался каменистым, глинистым, лопаты быстро затупились. Люди выбивались из сил, мать даже заплакала, но работа почти не двигалась. Когда яма стала по пояс, наша мать не выдержала, сказала, что надо искать другое место.

Вторую яму начали рыть между тремя молодыми ёлками, вверху, почти на краю леса. Нет ничего проще, чем копать песок. Вскоре наше убежище было готово, и его мигом заполнили испуганные люди. Я насчитал вместе с собою двадцать шесть человек. Сидели на узлах, прямо на сыпучем песке. Было так тесно, что любой мог спать сидя. Я устроился

в углу, прижал к себе тёплого кота. Стоило пошевелиться, за ворот рубашки стекала песчаная струйка.

Над лесом, как грозовая туча, нависли серые трёхмоторные самолёты.

»Бомбовозы...» — подумал я с испугом.

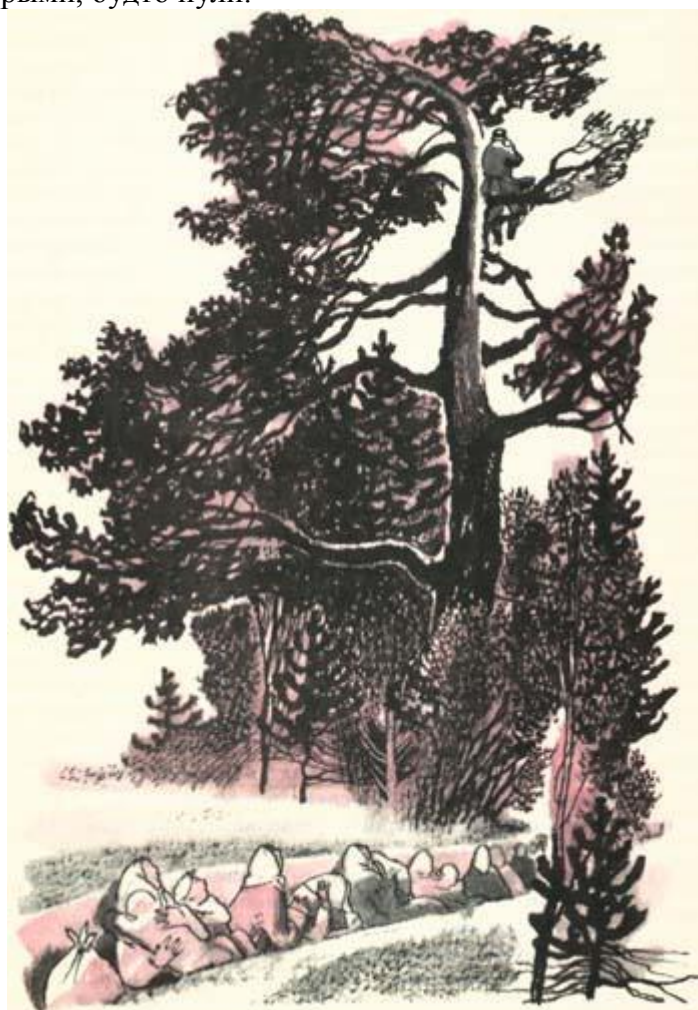
Но это были не бомбовозы. В небе — прямо над нами — распустились купола парашютов. Солнце уже заходило за лес, и в лучах его парашюты стали багровыми.

Я ждал, что парашютисты упадут рядом с нашим убежищем, но они начали приземляться на опушке. Куполов становилось всё больше, в небе вскоре не осталось свободного места...

Поднялась отчаянная стрельба. Трещало, как в горящем лесу. Вскоре начали бить орудия. Немецкая батарея была где-то рядом; мы слышали, как заряжают пушки, как хрипло кричит офицер или какой-то другой чин. После каждого залпа с ёлок шумно осыпалась хвоя.

В полночь по немецкой батарее начала бить наша, в чаще начали рваться снаряды. Одна из старух надела противогаз, спрятала голову в ведро, стала молиться богу, чтобы спас её от гибели. Спасли наши артиллеристы: фашистская батарея снялась с места, а десантники, видимо, отступили. Бой продолжался, но шёл уже вдаль от нас, за холмами.

На рассвете стрелять почти перестали, и мы услышали хрипловатый голос. Говорили по-немецки, и казалось, голос идёт прямо с неба. Ничего не понимая, люди стали выглядывать из окопа. Наконец кто-то догляделся, что на столетнем дубе над Лученкой, на самой его вершине, прячется немецкий наблюдатель с полевым телефоном. И мундир немца, и каска, и телефон были цвета дубовых листьев, сапоги точь-в-точь сероватая кора; выдали наблюдателя лишь сверкающие подковки и шипы на каблуках и подошвах сапог. Шипы казались острыми, будто пули.



С ужасом люди поняли, что наблюдатель может увидеть и наше убежище, позвонит на батарею и нас накроют первым же залпом.

Вдруг заплакал Серёга. Боясь, что он выдаст нас плачем, мать зажала ему рот ладонью... Было уже совсем светло, когда наблюдатель наконец слез с дуба — шумно, ломая сучья, словно нерасторопный медведь.

Не сразу решились мы выбраться из душной ямы. Серёга побежал за большую ёлку, я лёг в траву, прижался к тёплой земле. Старушка сняла с головы ведро, содрала с лица маску противогаза. Лицо её было багровым, будто после бани. В лесу стояла тишина, лишь трава негромко шелестела.

И тут мы услышали тяжёлые, решительные шаги. Казалось, идут в железных сапогах. Фашисты? Люди бросились к яме, так и посыпались вниз. Старушке уже некогда было надевать противогаз, нырнула головой в ведро. Страх был нестерпимым: вот-вот в упор ударят автоматы...

»Му-у-у!» — услышали мы неожиданно.

В убежище глядела сверху наша корова Желанная. Видимо, ей надоело стоять в хлеву, вышибла рогами дверь и пошла искать хозяев. Как она нас искала — рассказать Желанная не могла. Вымя коровы разбухло, из сосков капало молоко; там, где прошла наша корова, на траве лежала небывалая белая роса.

— Родная! Хорошая! Пришла!

Радуюсь, люди обнимали Желанную, гладили её по бокам. Мать, смеясь, взяла у старушки ведро, принялась доить корову. Из окопа мигом выбрался кот Васька, подбежал к корове, стал тереться о её ноги. Васька отлично знал, откуда появляется молоко.

Люди заволновались, принялись доставать из узлов жестяные кружки. У нас было две — побольше и поменьше. Серёга взял ту, которая была побольше, стал рядом с матерью. Мы с Васькой вновь оказались последними. Едва я отхлебнул глоток, как мой кот дико заорал. Смутьясь, я поставил перед ним кружку с молоком, и Васька мигом его вылакал. Взяв кружку, я подошёл к матери, но молока не осталось уже ни капли.

Пить хотелось нестерпимо. Размахивая пустой кружкой, я мигом добежал до речки, слетел под берег. И тут я увидел первую нашу недокопанную яму. Посреди неё была глубокая воронка от снаряда. Ярко белела половина снарядной головки с непонятными буквами и цифрами на узком пояске. Если бы мы докопали первое убежище, все были бы убиты... Глядя на воронку, я вспомнил, как по весне хоронили бабушку. Мать держала меня за руку, а стояли мы возле глубокой ямы. Стало вдруг страшно — страшнее, чем тогда, когда стреляли.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Весь день за лесом били орудия. Казалось, кто-то колотит кузнечным молотом по огромной железной бочке. Над ёлками проносились немецкие истребители.

Лишь к вечеру мы решились вернуться в деревню. Опушка была изрыта снарядами, словно перепахана. Рядом с дорогой чернели огромные свастики; как потом я узнал, немцы, чтобы их не бомбила своя же авиация, выкапывали в земле углубления в виде этого знака и разжигали в них костры...

По просёлкам шли колонны фашистских солдат. Мы со страхом смотрели на чужеземцев. Всё в них было невиданным и неожиданным: лица, одежда, оружие. Фашисты словно бы приснились; казалось, моргни — они исчезнут.

Но немцы не исчезали. Колонна шла за колонной, и думалось, им не будет конца — по полю текла страшная зелёная река.

Солдаты не кричали, не стреляли — просто шли и шли, и от этого было ещё страшней. Рукава их мундиров были закатаны, в руках — карабины и автоматы. Пулемётчики несли на плечах ручные пулемёты, похожие на длинные головни. Чёрные лопатки, обшитые войлоком фляги, гранаты с деревянными ручками — всё было чужим, незнакомым, пугающим. Пугала и песня, дикая, хриплая. С ужасом смотрел я на лица солдат, небритые, грязные и весёлые...

Прямо по полю катились танки с крестами на башнях. Тупо покачивались их короткоствольные пушки. Люки танков были открыты, на броне сидели поющие пехотинцы.

Мать словно подломилась, тяжело осела в траву. Вдруг загревели выстрелы. На круче стояли солдаты, ликуя, палили вверх...

— Будто совсем победили, — нахмурилась мать.

К матери бросилась наша соседка Матрёна Огурцова:

— Люди говорят, за лесом поле зелёное от их мундиров.

— В России полей много, — негромко ответила мать.

Посреди деревни стоял целый воз пятнистых фургонов, запряжённых парами коней-тяжеловозов. Будто пароход, дымила полевая кухня на колёсах, как у грузовой машины. Саша Тимофеев уверял меня, что фашисты по виду похожи на чертей из старинной книги. И вправду, на шлемах чужеземцев были коротенькие чертячьи рожки. А вскоре я увидел почти настоящих чертей. В нашем саду стояли три пчелиных колоды. Незванным гостям захотелось вдруг мёда. Боясь, что их покусаят пчёлы, солдаты надели на руки чёрные кожаные перчатки, натянули на лица противогазы с огромными глазами-очками и зелёными дырчатыми банками, похожими на свиные рыла. Немцы разворотили колоды, тесаками кромсали золотые медовые соты. Над касками, негодуя, гудел пчелиный рой...



Фашисты вели себя так, словно они, а не мы, были хозяевами в деревне. Люди не решались войти в собственные дома, стояли на улице. Мать поставила корову в хлев, и мы спрятались в сарае. Серёга держал на руках кота Ваську. В сарае было темно, пахло гнилым сеном, мышами. В углу темнела глубокая нора, там жил хорь.

В темноту вошла тётя Паша Андреева.

— Устроились? А мы в нашей бане. Будет страшно — приходите к нам.

— Спасибо, — ответила мать, провожая соседку.

Я лёг на сено, прижался к щелястой стене. Возле нашего дома сустились солдаты. Двое немцев свалили берёзу, что росла около крыльца, и, сбив топором ветки, распилили комель на аккуратные кружки. Пришёл ещё один солдат, с кистью и банкой краски, старательно вывел на каждом кружке цифру. К каждому дому прибили по кружку. Прежде никаких номеров в нашей деревне не было: мы и без того знали, кто где живёт... На дворе пыхла походная кухня, одуряюще пахло консервами.

Меня резко толкнул Серёга. Я ахнул: калитка в нашем огороде была распахнута, на грядках спокойно паслись немецкие кони. Не помня себя от ярости, я вылетел из сарая, схватил хворостину, налетел на коней, принялся хлестать их что было силы.

— Вон, вон, окаянные!

Ко мне бросился повар в коротком белом халате и серых кованых сапогах. Подбежал, сбил с ног, принялся топтать сапогами. Я закричал от боли: сапоги были будто бы каменные.

Потом я увидел мать. Держа в руках лопату, она молча шла на повара. Немец попятился, побежал к дому. Мать тотчас бросила лопату, схватила за руку Серёгу, выбежавшего из сарая, и мы бросились к лесу.

Я оглянулся: в нас целился автоматчик. Автомат затрещал, словно косилка. Спасли нас ольховые заросли. Как потом я узнал, фашисты чаще всего стреляли разрывными пулями; стоит такой пуле задеть даже за тоненькую ветку, как она разрывается...

В себя мы пришли в тёмной глухой чаще. Я лёг на тёплую иголицу, долго лежал. Мать нарвала лесной земляники, дала нам с Серёгой по горсти ягод. Напились из морозного родника-кипуна.

— Ваську забыли... — захныкал вдруг Серёга. — Они его убьют.

— Василий не дурак, спрячется... — Мать неожиданно улыбнулась.

Когда стемнело, втроём легли под ёлкой, прижались друг к другу. Всю ночь где-то поблизости ухал филин, пробегали какие-то звери.

Утром к нам пришла тётя Паша Андреева.

— Прячетесь? А немцы уехали. Ни свет ни заря, приказ им такой вышел.

— И дома не сожгли? — тревожно спросила мать.

— Не сожгли, торопились чего-то... Наши совсем близко.

Мы вернулись домой. Во дворе истошно орала недоеная корова. Половину наших кур солдаты переловили, увезли и двух овец-ярок. В сенях и в горнице пахло резко и неприятно. Около порога стоял пустой сундук. На полу лежали размотанные зимние удочки отца. Горница была завалена сеном. В сене что-то сверкало. Я наклонился, поднял обойму с патронами, поспешно сунул в карман.

— А ты у нас храбрая! — сказал матери Серёга.

— Нет, — покачала мать головой. — Но на своём дворе и курица рогата.

Ваську нашли на чердаке дома, за трубою, где он преспокойно спал.

Мать принялась за уборку, а я притащил к воротам лестницу, взял топор, поднялся по лестнице, сшиб топором берёзовый кружок, крепко приколоченный к углу дома. На деревяшке чернела цифра «7», похожая на кочергу.

МИТИНА ПУШКА

Строевая часть уехала, но в деревне всё чаще стали появляться фуражиры. Приезжали они на деревенских подводах и забирали всё, что приглянется: сено, зерно, муку, овчины. И мёд унесут, и корзину яблок, и только что пойманную рыбу. Грабителей-фуражиров сопровождали кавалеристы, вооружённые карабинами, палашами и плетями. У офицеров были книжечки-разговорники: немцы объясняли, что население прячет колхозные продукты, и они их отбирают. Солдаты вообще ничего не объясняли, хлестали при малейшем сопротивлении плетями.

Люди со страхом повторяли нескладное слово «оккупация». Прежде жизнь была простой и понятной: Советская власть заботилась о людях, никто никого не мог обидеть, все

помогали друг другу. И вдруг пришла иная власть — непонятная, жестокая. И защитить от этой власти нас было некому...

Вечером мальчишки позвали меня играть в лапту. Едва мы вышли на луг, как увидели скачущих всадников. Все мы бросились врассыпную, думая, что снова едут фуражиры, но Саша Тимофеев вдруг остановился, отчаянно замахал руками:

— Наши! Наши! Партизаны!

Про партизан говорили уже давно, и мне до смерти хотелось их увидеть. Конечно же, партизаны представлялись мне богатырями; и кони у них, я думал, богатырские. Лесные богатыри обвешаны оружием, крест-накрест пулемётные ленты, и фашистов они прямо в карман кладут.

Настоящие партизаны оказались совсем молодыми деревенскими парнями: все мужики и старшие парни ушли на фронт ещё в первые дни войны. И кони у партизан были не богатырские, обыкновенные местные гривачи. Вместо кавалерийских сёдел — сшитые по две подушки, вместо стремян — кольца из толстой проволоки. Даже портупеи у партизан и те были самодельные, из сыромятных ремешков.

Но оружие у парней было боевым, настоящим: кавалерийские карабины, военные ножи, гранаты. На ремне у одного из гостей висел наган в новенькой коричневой кобуре; я догадался, что вижу командира. На шапках партизан рдели косые кумачные полосы, в глазах горел огонь отваги — не струсят, если столкнутся с врагом.

Во все глаза смотрели люди на народных мстителей: вот она — наша Советская власть, она — рядом, нас есть кому защитить от фашистов! Со всех сторон спешили к партизанам люди, несли всяческое угощение.

И тут к партизанам пробился невысокий, но крепко сбитый Митя Огурцов. Перед самой войной ему исполнилось шестнадцать, Митя учился в неполной средней школе, окончил семь классов, был комсомольцем, а на груди у него всегда горел значок «Ворошиловский стрелок». Стрелял он метче всех в округе, даже ездил на соревнования в город Остров.

— Товарищи! Возьмите меня с собой, в отряд возьмите!

Митя умоляюще смотрел на партизанского командира.

— Подрасти надо! — отозвался командир со строгостью в голосе. — Оружие имеется?

— Имеется... Ружьё, одноствольное...

— Это не оружие, — нахмурился командир. — Вот если, скажем, у тебя был бы пулемёт, мы бы ещё подумали... Желających идти в партизаны очень много, а оружия пока у нас мало. Не хватает карабинов, совсем мало гранат, мало патронов, нет взрывчатки, медикаментов. И кроме того, в отряд мы берём самых достойных.

— Митя достойный, — заволновались люди.

— Пусть ищет оружие! — повеселели партизаны.

Всадники умчались, и даже я, совсем маленький мальчишка, понял вдруг, что партизанам очень трудно, что партизанам надо помогать.

Наутро я разбудил на восходе солнца Серёгу, взял корзину — корянку, сказал матери, что пойдём за ягодами.

— Только туда не ходите, где бой был, — предупредила мать нас с Серёгой. — Там гранаты могут быть, мины...

— Что ты, мам, мы ни в жизнь не пойдём туда. Там страшно.

Но туда-то мы и пошли, вернее, побежали. На гари темнели провалы окопов, и, спрыгнув в ближайший, я увидел на его дне россыпь патронов. Наклонился, принялся собирать патроны, будто ягоды.

— Помоги мне, — попросил я подоспевшего брата.

— Сам себе помогай! — огрызнулся Серёга и принялся набивать патронами карманы штанов, которые вскоре стали похожими на галифе.

Отяжелев, братишка с трудом выбрался из окопа.

— Патронов набрал, карабин искать буду!

В кустах долго гремело и звенело, пока вновь не появился Серёга — с винтовочным шомполом в правой руке.

— Штука какая-то непонятная.

— Это шомпол, им чистят оружие.

— Надо ж, от карабина один шомпол остался...

И вновь загремело, зазвенело в зарослях чернотала. На этот раз братишка выволок зелёную брезентовую сумку с красным крестом.

— Санитарная, сам знаю... А таблетки там положены?

— Есть, наверное, и таблетки.

— Хорошо, что нашли: партизаны в лесу живут, простудиться могут!

— Их и ранить могут, а в сумке йод, бинты. Давай-ка её сюда!

Сумка не очень заинтересовала брата, вновь послышались шум и звон — поиски продолжались.

Серёга выбрался из кустов не скоро, но в руке у него была ещё находка: немецкая граната с длинной еловой ручкой.

— Это что за толкушка? — спросил братишка с недоумением.

— Граната, смотри не крути её, а то улетишь выше ёлки!

Всё найденное мы сложили в корянку, лишь шомпол Серёга оставил при себе. Домой двинулись краем леса, хоронясь за деревьями. Брат шёл первым, зорко поглядывая по сторонам. Вскоре мы вышли к болотному озеру с бурой торфяной водой, в котором даже караси не водились. На берегу озера стояла пара лошадей в упряжке, лежали какие-то ящики. Вдруг забурила вода и вынырнул Митя Огурцов.

— Пойдём, посмотрим, чего он ныряет, — предложил я Серёге.

— Да, посмотришь, отберёт гранату и сумку...

Я понял, что лучше смотреть издали, затаился за елью. Тем временем Митя выбрался на берег, взял льняные верёвки и вновь полез в озеро.

— Чего это Митя верёвки затаскивает? — удивлённо спросил братишка.

— Помнишь сказку про Балду? Подожди, сейчас из воды черти начнут выскакивать, зелёные, страшные!

— Не надо смотреть, побежали... — Серёга по-настоящему был испуган.

Хоронясь под берегом озера, мы подошли к нашему саду, добежали до бани, где спрятали всё принесённое.

Мать очень удивилась, увидев пустую корзину.

— Нету ягод, — сказал я со вздохом. — Мальчишки из другой деревни всё забрали, до последней ягодинки.

— Голодные? — спросила мать, глядя на нас с явным сожалением.

— Голодные, — согласился Серёга.

— Тогда живо за стол. Я холодник приготовила, с квасом, со сметками.

Мы с Серёгой мигом оказались за столом, вооружились деревянными ложками. А мать подошла к окну и ахнула:

— Батюшки светы, пушка!

Через минуту мы с Серёгой уже были на улице. По дороге не спеша шагал Митя, вёл в поводу коней, которые весело тащили противотанковое орудие и зарядный ящик.

Возле своего дома Митя остановил коней, выпряг их и, стреножив, пустил в поле. Потом принёс ветоши, льняные очёсы и банку солидола.

К пушке валом валил народ, всем хотелось своими глазами увидеть чудо. Орудие было небольшим, с косым щитом и колёсами, как у легковой машины, ствол не толще тележной оглобли. И все его механизмы — в торфяной жиже, в липкой глине.

Митя радостно рассказывал:

— Искал пулемёт, обошёл весь лес — нету. Подхожу к озерку, а на воде радуга, будто от керосина. Нырнул, а там — целое орудие. Наши артиллеристы, видно, бросили, когда

отступали. Чтоб фашисту не досталось. А замок вынут, брошен в другое место, еле нашёл...

Мальчишки облепили пушку и мигом очистили от грязи. Смазанное солидолом, орудие засверкало, как новенькое.

— Мить, может, стрельнём? — робко спросил Саша Тимофеев.

— Попробуем, — весело согласился Митя. — Только надо бронебойными, чтобы осколков не было.

Пушку выкатили за огороды, развернули стволом в сторону бесхозной, брошенной бани. Митя повозился с панорамой и дальномером, но прицелиться с их помощью не сумел, решил наводить орудие самым надёжным способом — глядя в ствол. Открыл затвор орудия — замок, — покрутил одно колёсико, покрутил другое, прицелился точно в середину бани. Потом взял из ящика оружейный патрон, вложил в казённый, щёлкнул замком и взял в руки специальный шнур.

— Закройте ладонями уши, а рты откройте, — приказал Митя без улыбки.

Я закрыл уши, открыл рот, ожидая, что произойдёт что-то невероятное. Пушка гулко выпалила и подпрыгнула. В бане чернела дыра, похожая на чёрное яблоко.

— У-у-у! — выдохнули мальчишки.

Митя открыл замок пушки, выбросил стреляный стакан, продул ствол, будто самоварную трубу. Кисло запахло пороховой гарью.

— Подумаешь, с поля в баню попал, — разочарованно протянул Саша Тимофеев.

— Нет, пушка бьёт очень точно. Как малокалиберная винтовка. Сейчас увидите.

Над крышей бани поднималась муравленая труба, на трубу был надет горшок без дна, чтобы не забирались птицы. Митя навёл ствол пушки на трубу, зарядил орудие и вновь резко потянул шнур. Грохнуло, и горшок рассыпался чёрной пылью.

— Партизаны! — закричал кто-то рядом.

По полю мчались всадники — те самые, что приезжали накануне. Подлетели, спешились. К Мите, придерживая рукой кобуру нагана, подбежал рассерженный командир.

— С ума сошли? Кто стрелял, чьё орудие?

Мы, мальчишки, мгновенно превратились в пайнек с ангельскими лицами. Ничего не знаем и не ведаем, случайно проходили мимо...

Лишь Митя не испугался, спокойно посмотрел на командира:

— Может, и теперь в отряд не возьмёте?

— Ну, такого героя, да ещё с собственной пушкой, попробуй не возьми! Только уж больно ты молод, беги к матери, проси разрешения.

В пушку и зарядный ящик снова впрягли коней. Вскоре появился и Митя — в кожаном отцовском пальто, в хромовых сапогах, в кожаной фуражке. Мы с восторгом смотрели на нового партизана, а Митя шёл важный, высоко вскинув подбородок.



Люди тащили партизанам кто что мог: одежду, еду, оружие, — чего только не нашли на поле боя. Пришёл и наш час, мальчишеский. Саша Тимофеев тащил пулемётную ленту, Саша Михайлов нёс толовые шашки. Мы с Серёгой бросились к нашей бане, вернулись с санитарной сумкой, гранатой и целой корзиной патронов.

— Вот это деревня! — ликовал партизанский командир. — Глядишь, и самолёт подарят, четырёхмоторный!

ВАСИЛИЙ ШИТЫЙ

Партизан становилось всё больше, и всё чаще появлялись каратели. Немцы были в пятнистых куртках и штанах, в обтянутых маскировочными сетками шлемах, вооружены автоматами и ручными пулемётами. Каратели заглядывали в каждый дом, в каждую постройку. Называлось это коротким словом «облава», и, услышав его, люди тревожно оглядывались...

С самого утра по дороге шли цепью солдаты. Над лесом кружили перепуганные вороны, то там, то тут поднималась стрельба. Мать собрала в узел самое необходимое, запретила нам с Серёгой выходить из дома. Спать легли одетыми, прямо на полу. Уснул я лишь в самом конце ночи, когда перестали стрелять...

Выбежав поутру на улицу, я удивился неправдоподобной, совсем довоенной тишине.

Немцев нигде не было видно. По просёлку спокойно разгуливали вороны.

Вдруг я увидел Сашу Тимофеева, который тащил что-то в подоле рубахи.

— Во, смотри сколько набрал... В лесу ещё много!

Из-под рубахи у Саши торчал голый живот, а в подоле звенели гильзы из жёлтой меди, новенькие, с разноцветными пистонами.

Не раздумывая, я припустил к лесу, нырнул в чащу и вынырнул на берегу ручья... И попятился в испуге: за елью стоял Митя Огурцов, его правая нога была по колено забинтована. Ни шапки, ни кожаного пальто на партизане не было, сапог — один, на

левой нераненой ноге. Поблизости, под другой елиной, под нависшими лапами, будто в шалаше, лежал ещё один раненый. Лицо его было сплошь забинтовано, на белом, на том месте, где должны были быть глаза, рдело кровавое пятно. По тяжёлым рукам и рыжей, как корневище ивы, бороде я сразу узнал нашего местного пастуха Василия Шитого.

— Кто это? — спросил Василий Шитый.

— Свой, — успокоил товарища Митя.

— Немцы в деревне? — В голосе раненого Василия была тревога. — А партизан не видел?

— Карателей нет. Партизан тоже нет. — Отвечая, я боялся смотреть на Шитого.

— Вот что, орёл... — Митя движением руки велел мне подойти поближе. — Никому про нас ни слова. Кроме моей матери. Найди её побыстрее, понял?

— Приходи ночью, — негромко попросил Шитый. — Принеси сети.

...Матрёна собирала в саду опавшие яблоки, укладывала в решето. Выслушав меня, вскрикнула, выпустила решето из рук, и яблоки раскатились в разные стороны по траве. Как и велел Митя, дома я никому не сказал ни слова. Еле-еле дождался ночи... Шитый был другом моего отца. Отец рассказывал мне, что когда Василию было лет одиннадцать, его ударила копытом в лицо необъезженная лошадь. Хирург в городской больнице сбился со счёта, зашивая бесчисленные разрывы кожи. Василий сидел, сжав зубы, и даже не всхлипнул. За храбрость хирург подарил мальчишке губную гармошку. На лице остались шрамы, оттого хлопца стали называть Шитым, а потом прозвище перешло в фамилию. Василий был добродушным, незлобивым, «рахманным», как у нас говорили. Но в гневе он был страшен, мог одолеть пятерых.

Выждав, когда мать и Серёга уснули, я на цыпочках подошёл к окну, открыл скрипучие створки и тихонько спустился на завалину. Сети были в сарае, я выбрал самые лёгкие, взвалил на плечо.

За огородом меня догнала мать. В руке у неё был какой-то узелок.

— Погоди-ка, вот это возьми. До чего же скрытный!

Под ёлками одиноко сидел Василий Шитый.

— А Митя где? — спросил я с удивлением.

— Митя далеко. Сел на коня и ускакал, наших искать будет. Найдёт, и меня заберут отсюда... Чем это так вкусно пахнет?

Я развязал узелок: в нём были хлеб, свежепосоленные огурцы и кусок брусничного пирога. Василий ел не спеша, да и быстро есть он не смог бы: мешали бинты, а прорезь, оставленная для рта, была узкой...

До озера добрались быстро, я вёл Шитого под руку, стороной обходил валежины и пни. Над плёсом плыл туман, ночь стояла тёплая. Я пригнал нашу коягу, приготовил сети для заброса. Делал всё так, как делал когда-то отец. Перебрал полотно, уложил его так, чтобы грузила оказались справа, поплавки — слева. Василий сидел на береговом откосе, смутно белела повязка, похожая на ком снега.

Сети я высыпал за камышами: по краю плёса протянулась длинная цепь берестяных поплавок. Когда я выбрался на берег, то увидел, что Василий спит, прикорнув на копне сена. Рядом заухал, хрипло захохотал филин. Он мог разбудить раненого. Я поднял палку, запустил её в то место, откуда доносилось уханье и хохот. Птица тотчас умолкла...

На тёмной заре я выбрал намокшие сети. Попался огромный линь, похожий на медный поднос, три крупных окуня, краснопёрка и небольшая щука — вся в золотых звёздах. Проснулся Василий, развёл костёр из смолистых еловых шишек, которыми был сплошь усыпан берег. Я лёг у костра и вдруг увидел, что плыву под водой. Мимо меня проплывали полосатые окуни, на коряге сидел филин...

Когда я проснулся, солнце уже стояло над ёлками. Василий ел из котелка уху, весело предложил отведать её и мне.

— Сети уже высохли, я трогал... Погода как на заказ. Теплынь-то какая!

Шитый говорил негромко, неторопливо. Я понял, что ему очень больно. Если молчать, станет ещё тяжелее. Большие и тяжёлые руки раненого не находили места.

— Нарежь ивовых прутьев, — попросил меня Василий.

Пук с прутьями он положил в воду, отмочив, принялся их мять и гнуть. Плести оказалось непросто, руки словно бы и не помнили работу. Шитый путался, будто новичок. Порой тряс головою, словно хотел сбросить с глаз повязку.

Когда корзина была готова — совсем небольшая и кособокая, — Василий погладил её, как гладят собаку. Потом достал из-за пазухи тяжёлую противотанковую гранату, бережно положил её в корзину.

Мити всё не было. Я поставил на место комягу, отнёс домой сети. И вновь отправился к Василию Шитому.

На просеке я увидел фашистов. Они развернулись в цепь, медленно двинулись по лесу. Цепь была густой, сквозь неё не проскочил бы незамеченным даже заяц. Первым шёл офицер с пулемётом незнакомой мне системы. Куртки карателей были распахнуты, рукава закатаны, каски надвинуты на лоб...



Словно из-под земли вырос Василий Шитый. Ощупывая босыми ногами землю, он шёл навстречу карателям. В руках у Василия была корзина, которую он прижимал к груди. Офицер что-то прокричал, но Шитый, словно бы и не услышал его, заторопился, убыстрил шаги. В ярости фашист дал короткую очередь из пулемёта. Василий резко пригнулся; казалось, он идёт против сильного ветра. Солдаты уже совсем близко. Крича, бросились к партизану, окружили его. И вдруг Василий швырнул им под ноги корзину... Меня оглушило, на просеке резко запахло гарью. Каратели метались по лесу, в траве лежали убитые. Офицер застыл рядом с неподвижным Василием. Зияла воронка... Отступив за деревья, я изо всех сил побежал к деревне. Перед вечером примчались на конях партизаны. Среди разведчиков был и Митя — верхом на коне.

В лесу нашли высокую ель, вырыли под ней яму. В яму опустили завёрнутого в плащ-палатку Шитого. Яму засыпали рудым песком. На еловой коре Митя острым ножом вырезал звезду.

И, прибежав через пару дней к могиле Шитого, я увидел, что звезду затащило живицей, и она стала блестящей и тёмно-красной.

СЕРЁГА И ГУСИ

После прихода фашистов из деревни куда-то пропал Антип Бородатый. Поначалу решили, что он ушёл в партизаны. Мать, правда, в это не верила. Видимо, у неё были на то причины.

Жил Антип бобылём. Жена его давно умерла. Говорили, что Антип замучил её своим характером. Бородатый всем и всегда был недоволен. Всю жизнь он мечтал стать богатым, а работать не любил. То, что нравилось людям, Антипа раздражало. Даже жизнь не радовала. Он был уверен, что прежде жилось куда вольготнее.

— Нынче не то... — вздыхал Бородатый. — Измельчало всё. И лес ниже, и рыба мельче. Да что там рыба, червяк малокалиберный пошёл.

На дверях Антипова дома больше месяца висел ржавый замок. Прежде я никогда замков не видел: в нашей деревне их просто не было.

Объявился Бородатый так же неожиданно, как исчез. Ни с кем не здороваясь, хмуро прошёл к своему дому, отомкнул замок. Одет Антип был в немецкую шинель голубоватого цвета, на голове каска, на ногах кованые сапоги. На рукаве белая повязка, карманы набиты патронами, за плечом карабин, похожий на коровью ногу. Антип вынес из дома молоток и гвозди, сколотил шагомер и, отмерив на берегу озера огромный участок земли, вбил колья, натянул колючую проволоку...

Вскоре все узнали, что Антип — полицейский, служит в комендатуре полевой жандармерии. Появляться он стал всё чаще. В лесу поднималась пальба, с криком взлетала стая ворон, и все знали: идёт Антип.

В каждый свой приход он прибывал к стене омшаника то плакат, то приказ коменданта с печатью и орлом, крылья которого были похожи на ножи. Козёл Андреевых Яков мигом сдирал бумагу и сжёвывал. Козёл был чёрный, что сатана, лишь глаза — жёлтые, что спелые сливы. Стадо в деревне было невелико, и Яков заменял в нём пастуха, в деревне его любили. Схватив палку, Антип бросался на нарушителя «нового порядка», но козёл мигом убегал в лес.

— Не уймёшь скотину — гранату в окно брошу, — пообещал соседке Антип.

Собрав мальчишек, Бородатый дал каждому по кругленькому немецкому леденцу «бон-бон», спросил, куда делся Митя. Мальчишки сказали, что ничего не знают, и Антип грязно выругался.

Вскоре он приехал на телеге, привёз какой-то сундук, три самовара, патефон и узел с вещами. Потом явился с целым возом овчин и мешков.

— Партизанские семьи расстреливают, — сказала матери Матрёна. — Антип и забирает чужое добро. Говорят, мальчик хотел убежать, так ирод догнал и в спину — из карабина! Вначале на полиция все смотрели с насмешкой, но после странной новости стали смотреть со страхом.

...Мать собирала спелый крыжовник, а мы с Серёгой ей помогали. Вдруг мимо сада с грохотом промчалась телега, в которой сидел Антип. На передке подпрыгивала плетёнка, в каких в деревнях носят солому и сено. Корзина была обвязана мешковиной.

У крыльца своего дома Бородатый резко осадил коня. Корзина опрокинулась, раздался треск крыльев, и наземь посыпались серые домашние гуси.

Перепрыгнув через изгородь, Антип подошёл к матери.

— Вот что. Работа имеется. Платить буду картошкой. Только без озорства: яйца не воровать, гусей не бить. Увижу — сверну голову. Пасти могут по очереди: полдня — старшой, полдня — меньшей... Ну, пока!

— Мам, а может, не надо? — спросил братишка.

— Идите, пасите... С таким спорить нельзя.

Я выломал прут, Серёга поднял хворостину, и мы поплелись к гусиному стаду. Гуси яростно загоготали, выгибая спины, оглушительно захлопали крыльями. Всех громче гоготал огромный гусак с оранжевой шишкой на лбу, в ярких жёлтых «сапогах», с подрезанными крыльями.

— У-у, страшила! — перепугался братишка.

Гусак зашипел и, вытянув шею, двинулся на нас с Серёгой, за ним хлынуло всё стадо. Мы с Серёгой в мгновение ока оказались на изгороди и повисли, уцепясь за столбы. Гусак успел ущипнуть меня за пятку — клюв у него был как будто из железа...

Покричав, гуси двинулись к озеру... Доберутся до воды, уплывут бог весть куда — днём с огнём не сыщешь! Мы с братишкой бросились наперерез. Страшила запрыгал от злости, налетел на нас чёртом. Мы, птясь, начали отступать к сараю. Серёга оступился, и тотчас на него налетела вся стая. Я не выдержал, ожёг Страшилу кнутом. Гусак от боли присел, остальные гуси растерялись, и братишка был спасён...

Вечером пришла на луг наша мать, и втроём мы загнали стадо в сарай. Дома на столе нас ждало парное молоко, но ужинать мы с Серёгой не стали; шатаясь от усталости, рухнули на кровать. У меня болела голова, гудели ноги. Спал и видел во сне, что за мной гонятся гуси. Страшила, будто тетерев, сидел на высокой берёзе.

Наутро Бородатый явился с дружками-полицейскими и четвертью мутного самогона. Собрал гусиные яйца, Отогнал от стада и пристрелил молоденького гусака. Потом полицаи развели костёр, зажарили гуся на углях, запекли яйца. Пили прямо у кострища, жадно закусывали. Нам с Серёгой хотелось жареного мяса, но Антип не дал даже маленького кусочка...

И вновь мы с трудом доплелись до постели.

— Давай отравим их, — предложил Серёга. — Толчёным стеклом. Или на озеро пустим, а там — выдра...

— Нельзя, Антип и вправду головы отвернёт!

Вскоре Бородатый привёз ещё четырёх гусей. Подошёл к матери, глянул хмуро:

— Если кто спросит, чьи гуси, скажешь, что ваши. За работу хорошо заплачу. Если что случится — сведу со двора корову. Понятно?

— Как не понять, — потупилась мать. — Дело ясное...

Антип вернулся к своему дому и вдруг в мгновение ока взлетел на крыльцо, нырнул в сени. От озера бежали партизаны — пятеро или шестеро. Первым, прихрамывая, летел Митя Огурцов.

Партизаны окружили дом Антипа; Митя и партизан с наганом, видимо старший, решительно взбежали на крыльцо. Прошла минута, другая. С треском открылось окно, и Митя высунулся по пояс.

— Пусто! Успел убежать, гадина!

— Он там! Мы видели! — в один голос закричали мы с матерью и братишкой.

Митя исчез, нахлынула тревожная тишина. Потом открылась дверь дома, и с крыльца, высоко подняв руки, спустился Бородатый. Следом шли партизан с наганом и Митя. В руках у него было два карабина — свой и Антипа. Лицо полицай было перепачкано в саже.



— В печке спрятался, — весело сообщил товарищам Митя. — А эту вот штуковину в подвал кинул!

— В сарае подвода, — сказала мать, подойдя поближе к партизанам. Антип вздрагивал, озираясь по сторонам.

— Что, страшно? — спросил кто-то из партизан. — А людей расстреливать не страшно? Теперь народ судить будет. У, шкура!

Антип ждал удара, но его никто не трогал. Даже козёл Яков не бросился на безоружного недруга. И все смотрели мимо Антипа, будто его и не было рядом.

— Гуси! — неожиданно вспомнил про стадо братишка.

Схватив тяжёлую палку, Серёга бросился к озеру. Я поспешил за ним с гибким ивовым прутом.

Гуси паслись возле самого берега. Серёга, вскинув палку, двинулся на Страшилу. Размахнулся... и не ударил. Гусак стоял печальный, покорно опустив голову.

Подошли мать и старший из партизан. Мать сказала:

— Нужно отдать стадо хозяевам. Гусей Бородатый брал на Горбовом хуторе. За озером.

— С заданием справитесь, а, пацаны? — Глаза партизана смотрели строго.

— Справимся, — по-взрослому отозвался братишка.

Мы загнали гусей в лодку, мать принесла нам черпак и весло. Партизан уехал вместе с товарищами и пленным на подводе.

Плыли долго, озеро было широкое. Я изо всех сил работал веслом. Серёга сидел рядом со Страшилой, тихонько его поглаживая. Гусак важно кивал оранжевым клювом.

Вот и противоположный берег. Гуси тревожно крутили головами: узнали знакомые места. Страшила взмахнул крыльями, плюхнулся в воду. За ним и все остальные. Торопливо, перегоняя друг друга, словно серые кораблики, гуси поплыли к песчаной косе...

СНЕГ ВЫПАЛ

Первая военная зима пришла неожиданно рано. Ударил мороз, и озеро покрылось льдом. Лёд потрескивал под ногами, но держал человека. Снег выпал ночью, когда мы спали... Чуть свет я выбежал на крыльцо... Стояла брусничная заря. Снег шубой лежал на земле, шарами висел на еловых лапах. От зари пороша казалась тёплой и розоватой, как поле цветущей смолёвки. И нигде ни следа...

Когда стало совсем светло, я оделся потеплее, обул валенки. Надо было проверить поставленные на куропаток силки. Взял торбу, вытащил из-под крыльца самодельные лыжи, натёртые пчелиным воском. Отыскал в хворосте две палки.

Идти было трудно: в дырявые валенки набивался снег. Через каждые двадцать — тридцать шагов я останавливался, как цапля, поджимал то одну, то другую ногу, вытряхивал из-за голенищ холодные хлопья.

Послышался отрывистый стук копыт, и со мной поравнялись сани. Соловый конь шёл лёгкой рысью. В санях весь в белом — белая заячья шапка, белый маскировочный халат, белейшие валенки — сидел незнакомый мне партизан. На коленях у него лежал автомат, на груди висел артиллерийский бинокль. Неожиданно партизан натянул вожжи, и конь застыл будто вкопанный.

— Немцы не приходили? Не видел? — спросил партизан без улыбки.

— Не видел. А вчера вечером были, ушли за озеро.

Партизан посмотрел в бинокль, потом протянул его мне.

Я осторожно поднёс бинокль к глазам. Лес словно бы прыгнул мне навстречу: я увидел каждое пятнышко на берёзовой коре, каждое пёрышко на крыльях огромного тетерева. Казалось, протяни руку — и дотронешься до косача...

Вздохнув, я вернул бинокль. Партизан вновь принял к окулярам, долго смотрел на холмы и лес. Потом присвистнул, резко натянул вожжи и улетел в санях в сторону просеки.

Я продолжил свой путь, выбрался на опушку.

Трах-тах-тах-тах! — загрохотало где-то совсем близко.

С ёлок посыпался снег, засвистели пули, застучали по веткам и коре. С треском взлетели тетерева, сидевшие на берёзе, пронесли мимо меня, будто чёрные мины.

Взглянув на просеку, я увидел, что сани мчатся назад. Конь шёл на полный мах, гулко стучали подковы. Вновь сани поравнялись со мной. Лицо партизанского разведчика было блее берёсты, губы резко сжаты. Партизана ранило в ноги: пули пробили валенки, через дыры сочилась кровь, ярко-красная на белом. От страха у меня потемнело в глазах...

Выстрелы застучали совсем рядом. На опушку выбежали солдаты в длиннополых шинелях тёмного цвета, в суконных шлемах и сапогах из войлока и кожи. Автоматчики били навскидку, короткими очередями. Двое рослых солдат тащили пулемёт со станком на треноге, видимо снятый с повозки. Выбежав к дороге, солдаты рывком поставили, почти бросили его на снег. Пулемётчик присел, принял к прицелу. Второй номер расчёта раскрыл алюминиевую коробку, умело заправил в приёмник ленту с патронами. Жёлтые пули торчали, будто волчьи клыки...

Сани с партизаном мчались по открытому полю, разведчику было некуда деваться.

Трах-тах-тах-тах! — взревел чёрный пулемёт. Пули легли рядом с санями. Разведчик вдруг повернул вправо — в сторону от дороги.

Та-та-та-та! — вновь залился очередью пулемёт. Сани на мгновение скрылись за кустом можжевеля, врезались в пушистый сугроб. Тучей поднялась снежная пыль.

Очередь оборвалась. Пулемётчик повернул рукоятку, и пулемёт, как послушная машина, изменил положение. Мне стало страшно, я закричал. Пулемётчик вздрогнул, но не оглянулся. Вновь грянула очередь. Мимо! Сани подскочили и вдруг исчезли среди снежного луга, точно их и не было.

И тут я вспомнил про глубокую канаву, выкопанную год назад, для того чтобы отвести воду из мочажины в озеро. По канаве сани миглом домчатся до озера, укроются под крутым берегом, а там — кусты, лес... Лёд выдержит, я был уверен.

В ярости пулемётчик ударил по сугробам, окружившим канаву. Поле затянула белая дымка. Немец встал, по-русски выругался, молча подошёл ко мне. Взял за шиворот, поднял, посадил на снег. Потом взял мои лыжи, огромными ручищами переломил пополам, будто это были лучины.

Громко разговаривая, немцы ушли. Я вытер глаза варежкой и, не оборачиваясь, не вытряхивая из валенок снег, не пошёл — побежал к нашему дому. Снег за голенищами был словно толчёное стекло...

ГРИША-МОРОЖЕНЩИК

В январские морозы я заболел. Мать дважды на день топила печь, укутывала меня ватным одеялом, накрывала отцовским полушубком. Бил озноб, гудело в голове. Засветят коптилку — тоненький огонёк покажется мне костром. Пройдёт, стуча валенками, брат — скрип половиц оглушит, будто раскаты грома.

Лекарств не было, и мать поила меня каким-то горьким отваром. Среди белого дня засыпал. Снилось летнее озеро, над озером стояли тёмные тучи. Они отражались в воде, похожие на каменные горы. В бреду привиделось, что из воды поднимается скала, похожая на немецкого солдата в глубокой каске...

Долго лежал в забытии. Очнулся от смутного шума. Открыл глаза: по комнате ходили партизаны. В углу стояли винтовки, на лавке лежал автомат с чёрным диском.

Обрадовался: партизаны не появлялись уже несколько недель.

Лицо одного из гостей показалось мне знакомым... Улыбается, щурит лукавые глаза. Да это же Гриша — мороженщик из города! Щурится — и тогда, ещё до войны, щурился. В белом халате — и тогда был в белом халате. Может быть, это даже тот самый халат? У других халаты из парашютного шёлка, а у него простой, миткалевый.

В последний раз я видел Гришу на весенней ярмарке. Около городской бани стояла голубая фанерная палатка, в которой и торговал мороженщик. Мороженое лежало в серебристых бидонах, а бидоны были поставлены в бочку и обложены колотым льдом...

Мать принесла из чулана мешок с сосновыми шишками, поставила самовар. Партизаны присели к столу, на лучшее место — рядом с Гришей — устроился Серёга. Было видно, что он подружился с бывшим мороженщиком. Гриша поставил на колени плоский зелёный ящик, открыл его, и на стол легла взрывчатка: жёлтые шашки тола, багряные пакеты аммонала, тёмно-коричневые динамитные патроны. Рядом Гриша положил полдюжины разряженных гранат. Быстро осмотрев своё богатство, партизан принялся укладывать взрывчатку обратно в зелёный ящик с брезентовым ремнём.

Серёга не спускал глаз с опасных предметов.

— Не бойся! — улыбнулся Гриша. — Без запала ничто не взрывается.

Взяв пакет аммонала, партизан показал его Серёге:

— Фруктовое, красное, лучший сорт!

Тут же появился динамитный патрон.

— Ореховое, в стаканчике, почти что даром!

Потом в руках партизана оказалась вдруг немецкая граната на длинной деревянной ручке.

— Эскимо на палочке, бери-налетай!

Вновь на меня нахлынуло забытьё. Очнулся от прикосновения чьих-то тяжёлых рук. Это был Гриша, он поправил придавивший меня полушубок. Партизаны уже собирались уходить. На одном боку у Гриши висел автомат, на другом — зелёный ящик со взрывчаткой. И вдруг, как наяву, увидел я мороженое: среди отливающих радугой осколков льда кружились белые, жёлтые и розовые шары, ярко полыхал завернутый в серебристую бумагу пломбир. На миг я даже почувствовал сладкий и морозный вкус...

— Гриша, — сказал я так тихо, что сам не услышал своего голоса, — принеси нам мороженое... Ладно?

— Опять он бредит! — встревожилась мать.

— Принесу, обязательно принесу... — сказал вдруг Гриша, улыбаясь.

Потом я проснулся среди ночи. Мир был наполнен грозным, слышным мне одному шумом. По лесу шли какие-то люди, громко хрустел наст. В чаще ухнуло... Видно, пугач-филин. Гудя, двигались грузовые машины.

В окно глядела луна, похожая на снежный ком. Её заслонили облака, и комнату затопила темнота. На мгновение вдруг посветлело, где-то за лесом грохнуло так, что зазвенели стёкла. Вскочила мать, бросилась к окну. Но за окном стоял мрак, текла глухая тишина...

И вновь я почувствовал, что падаю в бездонную пустоту.

— Друг! Вставай! Гости пришли! — разбудил меня громкий, весёлый голос.

Рядом с кроватью стоял Гриша-мороженщик. У него была забинтована правая рука. Халат почернел, покрылся серыми пятнами.

— А я вот тебе подарок принёс... Как и обещано было.

На одеяло легла пригоршня рубиновой, прихваченной морозом калины. Я положил несколько ягод в рот. Они были твёрдыми, студёными, но быстро оттаяли. Калина чуть горчила, но всё-таки была сладкой...

Подошёл Серёга, взял целую кисть. Попробовал.

— У-у, мороженая!

— Мороженое, — шурясь, поправил моего братишку Гриша.

Партизаны напились чаю и вновь ушли. Мне стало вдруг легче. Я спустился с кровати, присел у окна на лавку. За окном сиял удивительный, полный красоты и света мир. На ёлке сидела сиреневая ворона.

Вскоре мы узнали, что Гриша — подрывник, награждён орденом. А потом кто-то из партизан сказал, что Гриша погиб на железной дороге.

БАЛАЛАЙКА

В середине зимы всё чаще стали появляться каратели. Они шли в пешем строю, ехали на саях и грузовых машинах. Одеты фашисты были по-зимнему: на ногах — русские валенки, на руках — деревенские рукавицы, поверх шинелей — овчинные полушубки, под каской — подшлемник и треух...

Выходить из дома было страшно, мы с Серёгой с утра до вечера сидели на печи. Мороз покрыл окна инеем, сквозь иней с трудом пробивался свет, даже днём в комнатах было сумрачно. Я продышал на стекле «пятячок», но ничего интересного не увидел: всё вокруг заслонили сугробы.

Не зная куда себя деть, мы с братом погибали от скуки. И тут я нашёл балалайку, на которой когда-то играл наш отец. Инструмент был старый, работы не очень умелого мастера, без единой струны. Балалайка лежала в чулане, там же я взял моток тонкой стальной проволоки. Мать помогла натянуть струны, и инструмент ожил.

Сначала, правда, никакой музыки у меня не получалось, балалайка то гремела, то пищала по-комариному, то начинала тарыхтеть, будто жестяной чайник. Я в кровь разбил пальцы, но всё же добился своего: научился играть плясовую.

И когда заиграл, Серёга мигом стащил с ног валенки, вылетел на середину горницы, весело зашлёпал босыми ногами. Плясал, покуда не утомился...

Мимо нашего дома шли Саша Андреев и Саша Тимофеев. Заслышали музыку, завернули в наш дом. В гостях перебивала за вечер чуть ли не вся деревня. Я совсем разбил пальцы, но боли не чувствовал. Шла война, стояла зима, и всем хотелось хотя бы на короткий срок позабыть о страшном. Плясали вприсядку, пели весёлые частушки.

Спать я лёг с балалайкой, положил её с собою рядом. Серёга завидовал мне, осторожно трогал струны.

Утром ни свет ни заря пришла встревоженная Матрёна Огурцова.

— Вчера в Усадине была. Деревня вверх дном перевёрнута. Раньше только налог брали, а теперь тащат всё подряд: сено, муку, картошку, овчины, валенки. Говорят, чтобы партизанам не помогали. В Носовой Горе брали сено, хозяйка мешать стала, так прикладом ударили и всё увезли — до малой сенинки! Прятать надо то, что осталось. В любую минуту могут нагрянуть.

Я невольно прижал к себе балалайку. А вдруг и её отнимут каратели? Я встал, быстро оделся, запеленал инструмент куском синей байки. Выбежал на улицу, по сугробам, проваливаясь в снег, пробился к бане, спрятал бесценный свёрток в сухом котле, накрыл тяжёлой чугунной крышкой.

Дома меня ждала мать. Возле печи стоял красный сундук, и наша мать укладывала в него всё ценное. Я стал помогать. Уложили отцовский полушубок, вышитое льняное полотенце, чёрную шаль, медный самовар, всю нашу хорошую одежду, пару новеньких валенок, огромный моток шерстяной пряжи, спички, мешочек с солью, патефон с пластинками, мешок блинной муки...

— Куда деть ржаную — не ведаю, — мать развела руками, вздохнула тяжко. — В солому положить? Найдут, обязательно. Хоть в лес уноси.

— Гудит! — Серёга в ужасе бросился к матери.

Гул нарастал, по дороге шли машины, они были уже рядом. Мы с матерью потащили сундук к подвальному люку, но дотащить не успели — резко растворилась дверь, в комнату ввалились каратели. Увидев сундук, фашисты захохотали. Особенно громко смеялся носатый чин с нашивками на погонах, видимо фельдфебель. Обмороженный нос весело кривился.

— О-о, целый богатство! — пришёл фельдфебель в восторг, приоткрыв крышку сундука. — Вы хотите отдавать это партизанам? Плёхо, очень плёхо! Надо помогайт немецки армия!



Фельдфебель надел поверх шинели полушубок отца, сунул под мышку валенки из чёсаной шерсти.

— Без валенка — простуда, умирайт...

Один из солдат хмуро посмотрел на мать, жестом показал, чтобы разулась. Мать сняла свои ещё нестарые валенки, осталась в шерстяных носках.

Солдат снял с ног сапоги, обулся в тёплые валенки, лихо затопал. Другой солдат, смеясь, закутался в шаль, которую мать надевала лишь по праздникам. В несколько минут немцы перевернули весь дом. Нашли мешки с мукой, солёные грузди в кадushке, плетёнку крупного лука. Всё это — и сундук с вещами, и мешки с мукой, и кадushку с плетёнкой — вынесли на двор, дотащили до машины, бросили в кузов.

...Забыв про страх, полураздетый, я стоял на крыльце, смотрел на незваных гостей и окрашенные в белый цвет грузовики с цепями на колёсах. Немецкие солдаты сновали по деревне, несли к своим машинам всё, что можно было унести.

Вдруг кто-то из солдат увидел следы на сугробе — мои, вчерашние, — заволновался, позвал приятелей. Подошёл фельдфебель, что-то сказал и вместе с рядовыми направился к нашей бане...

Немцы долго вертели в руках балалайку, разглядывали со всех сторон. Потом инструмент взял фельдфебель, прижал к груди, ударил по струнам. Немцы шли к машине, словно деревенские парни на посиделку: не спеша, важно вышагивая. Балалайка захлёбывалась в огромных ручищах фальдфебеля. Но мне её уже было не жалко...

ЦЫГАНЁНОК

С тех пор как пришли фашисты, в округе ни разу не появлялись цыгане. Прежде, до войны, без них не обходилось ни одной ярмарки, ни одного праздника. В соседнем колхозе была бригада, состоявшая из одних цыган. Зимой они жили в домах, а летом разбивали палатки где-нибудь около воды, ставили шалаши и шатры. По вечерам возле них горели костры, негромко пели смуглые девушки.

Отец дружил с цыганами и часто водил меня в табор. Цыгане были непонятными и таинственными; при встрече с ними я замирал от страха. Нас с отцом усаживали на лучшее место, угощали чаем и ягодами. Старый цыган в кумачовой рубахе играл в нашу честь на скрипке; музыка была тихой и жалобной, как осенние клики журавлей...

Но вот цыгане пропали. Как-то я спросил у матери, почему их нигде не видно. Мать нахмурилась и сказала:

— Цыган ненавидят фашисты, ловят, расстреливают. Цыгане по лесам прячутся, по глухим деревням, а кто помоложе — идут в партизаны.

Я долго ходил по лесу, но не увидел шатров, нигде не горели костры. В чаще стояла тягучая тишина.

»Может, они летом вернуться?» — подумал я, опечаленный.

И вдруг я снова увидел цыган. Шёл берегом озера и застыл на месте от неожиданности: за кустами пробирались люди, закутанные в старое тряпье, одетые в рваные полушубки и не по-зимнему обутые. Тёмные обмороженные лица, нечёсанные чёрные волосы... У старика с трубкой во рту забинтована правая рука. Хромой мужчина несёт на руках запелёнатого в овчину младенца...

Двое мужчин волокли широкие еловые салазки. На салазках, между перин, увязанных льняными верёвками, лежали цыганята. Видны были лишь головы, замотанные платками. Маленький мальчонка грыз сухарь, с удивлением смотрел на меня.

Цыгане скрылись в лесу, а я помчался домой, спеша рассказать матери про то, что увидел.

— Видела сама... Знаю... Молчи, не говори Серёге!

Братишка мог проговориться, я это знал.

В маленьком нашем доме поселилась тревога. Мать то и дело выходила на двор, возвращалась не сразу. Поужинав, сразу легли спать. На печи было знойно, и братишка уснул, едва прикоснувшись щекой к подушке. Я задремал на самом краешке сна. Чудилось что-то большое, лохматое, тёмное. Сквозь дрему пробился негромкий треск. Стреляют? Нет, видно, деревья трещат от лютого мороза.

Послышалось, что кто-то кричит и плачет. Мать встала, вышла в сени. Пропела дверь, закрипели половицы крыльца. У нас болела корова, и мать по несколько раз на ночь выходила к ней, поила отваром коры...

Очнулся от яркого света. На столе стоял горящий фонарь. Мать держала на руках незнакомого мальчишку. Он был в рваных валенках, закутан в большой чёрный платок ручной вязки. Мать развязала платок, и я увидел, что это цыганёнок лет шести-семи, тоненький, кареглазый, с волосами, как вороново крыло.

— Как тебя звать-то? — спросила мать шёпотом.

— Максим, — тоже шёпотом ответил цыганёнок.

Мать разула его, уложила на печь рядом со мной и Серёгой, укрыла одеялом. Цыганёнок сжался, свернулся калачиком. Мать погасила фонарь, присела около окна.

Неожиданно Максим вскочил, пронзительно закричал. Проснулся брат, ещё громче заревел.

— Что? Что случилось? — Мать метнулась к печке, потом вновь зажгла фонарь.

— Фашисты... Там... — Цыганёнок дрожал от страха, как тростинка.

— Что ты, Максим, нет их здесь. Успокойся.

— Приснилось... Пришли, начали в нас стрелять. Еле убежал... Такие сугробы...

— Спи, — сказала мать. — Они больше не придут.

— Могут прийти. Они всех наших убили... И мою маму.

— Спи, маленький...

Цыганёнок послушно лёг, прижался к Серёге. Братишка подумал-подумал и обнял Максима за шею. Так они и уснули.

Рассвело. Мороз схлынул, и стёкла в окнах вновь оттаяли. Мать глянула в окно и вдруг вскрикнула. Я подбежал к матери, всё понял... От леса к нашему дому тянулся след, оставленный цыганёнком, а к деревне двигались каратели; скрипя, катился по сугробам санный обоз. Ещё немного, и немцы увидят этот след, ворвутся в наш дом, схватят и Максима и нас. Они убивают не только цыган, но и тех, кто цыган укрывает.

Мать бросилась к выходу. Хлопнула дверь, загрохотали ступени крыльца. Мать бежала к хлеву, где стояла наша Желанная. Вытащила засов, что-то крикнула. Корова без охоты перебралась через порог, направилась к дому. Мать бросилась наперерез, замахнулась на Желанную засовом. Ничего не понимая, корова взбрыкнула и понеслась в сторону леса — как раз туда, где темнели следы валенок цыганёнка. На месте цепочки следов легла полоса взрытого снега...

Каратели ехали уже мимо нашего дома. Будто лодки-плоскодонки, плыли тяжело груженные розвальни. На мешках муки, на связках овечьих шкур сидели солдаты с оружием. В широкой кошеве дымил сигаретой молодой офицер — в шлеме, в очках, в шинели с волчьим воротником. Стёкла очков поблёскивали, словно льдинки. Увидев мать и скачущую по сугробам корову, офицерик засмеялся, сигарета запрыгала в белых зубах. Махая руками, хохотали и солдаты. Экая, мол, неуклюжая женщина: корову в хлев не может загнать...

Когда обоз скрылся за холмами, мать куда-то ушла, наказав нам не слезать без особой нужды с печки. Цыганёнок и братишка спали, но мне было уже не до сна.

Не прошло и часа, как из лесу вылетели оплетённые ивовыми прутьями сани. В них стоял станковый пулемёт, сидели пятеро партизан. Вместе с партизанами была наша мать. Сани остановились у крыльца, партизаны и мать вошли в наш дом. Лишь пулемётчик остался у пулемёта.

Мать разбудила Максима, Серёга проснулся сам. Пожилой партизан, улыбаясь, снял с себя полушубок, остался в лёгоньком ватнике. Максима обули, завернули в полушубок, укутали его голову платком. Пожилой партизан, взял Максима на руки, отнёс в сани, усадил рядом с пулемётом.



Мы с Серёгой не выдержали, полуодетые выскочили на улицу. Сани лихо сорвались с места, понеслись по накатанной дороге.

— До свиданья, Максим! — закричали мы с Серёгой в один голос.

— До свиданья... — оглянулся цыганёнок.

Вскоре мы узнали: партизаны переправили его в тыл на самолёте — вместе с ранеными.

ХЛЕБ

Мать решила испечь хлеб. Муки оставалось всего полмешка, её надо было беречь, и мама подсыпала в тесто горсть липовых опилок. Кадушку с тестом мать поставила на печь, и всю ночь оно ворочалось и вздыхало, словно живое. Наутро, едва посветлели окна, в печи запылал огонь, а когда дрова догорели, мама выгребла угли, на дубовой лопате посадила хлебы в печной жар, задвинула устье заслонкой.

Через час хлебы были готовы, и по дому разлился густой хлебный запах. Мать вынула из печи готовый каравай, sprysнула корку водой, отрезала для нас с Серёгой по большому духмяному ломтю. Брат отломил корку и, пожевав её, поморщился...

— Деревянный хлеб... Липой пахнет!

И всё же Серёга доел краюху, собрал со стола крошки. Я приготовил тюрю: накрошил в глиняную миску хлеба, залил водой, добавил луковицу и сдобрил всё это чуточкой льняного масла. Серёге вновь захотелось есть, и мне пришлось разделить с ним кушанье.

Ненароком я взглянул в окно... По дороге двигалась тёмная колонна: фашистские конвоиры вели пленных. Люди рассказывали, что рядом с городом Порховом огромный концлагерь и пленные гибнут в нём от холода и голода. Кто покрепче — убегает; каратели рыщут по лесам, хватают беглецов. Пленных, говорили, заставляют делать самую тяжёлую работу, гонят на расчистку снега...

Мать схватила со стола непочатый каравай, не одетая выбежала на улицу. Мы с Серёгой быстро оделись, бросились следом за матерью.

...Пленные шли, шатаясь, будто тростник. Белые, измождённые лица, нескладные от худобы фигуры, в глазах — боль, усталость, потерянности. Конвоиры были в тёплой одежде, в русских рукавицах и валенках; пленные шли полуодетые: один — в прожжённой шинели, другой — во френче без знаков различия, третий — в коротком ватнике. Кое-кто надел женскую одежду: видимо, принесли сердобольные старухи. Едва прикрыты головы: картузы, шлемы со споротыми звёздами, пилотки, платки. Обувь — надо бы хуже, но не бывает. Разбитые опорки, чуни, обмотанные проволокой сапоги, «колодки» с тяжёлыми деревянными подошвами...

К дороге со всех сторон торопились люди. Дед Иван Фигурёнок прижимал к груди чугунок с дымящейся печёной картошкой. Несли хлеб, тёмные куски льняных жмыхов, ломти варёного мяса и свинины.

Вдруг я увидел знакомого парня. До войны он работал трактористом, не раз бывал в нашей деревне. Прежде он был румян, плечист, любил одеться нарядно. Передо мной был другой человек: худой, с провалившимися щеками, одет в коротенький бушлат, ноги обмотаны мешковиной.

Дед Иван попытался подбежать к самой колонне, но наперерез бросился конвойный, прикладом карабина выбил из рук горшок. Горячие картофелины покатались по дороге. Пленные хватали их, торопливо прятали. Немец закричал, принялся топтать картофелины сапогами, но пленные хватали и раздавленные, глотали пополам со снегом.

Оба наши Саши — Андреев и Тимофеев — оказались проворней конвоиров, успели передать лепёшки и куски жмыха. В ярости конвоиры принялись палить из автоматов над головами людей, и народ хлынул от дороги.

Вдруг мне пришла простая и чёткая мысль: колонна движется медленно, я бегаю быстро, лёгок и меня держит настр; нужно добежать до леса, положить на дорогу каравай. Так как конвоиры идут в основном в хвосте колонны — чтобы удобнее было стрелять, если пленные захотят разбежаться, — на хлеб наткнутся пленные. Его можно даже замаскировать, слегка присыпав снегом...

Я вырвал из рук матери каравай, бросился к озеру. Берег скрыл меня от конвойных, и я мигом добежал до опушки. Вот и лес... Бежать стало тяжело, я тонул в сугробах, падал в какие-то ямы. Вдруг резко застучал автомат. Пули загудели совсем рядом, ударило в грудь, и я упал... «Ранили...» — подумал с ужасом. Вжался в снег, боясь пошевелинуться. Когда колонна скрылась в глубине леса, я встал, ощупал себя где только мог. Раны нигде не было. В ушах тоненько звенело...

Я поднял каравай, поплёлся к дому. По опушке металась мать. Увидев меня, обессиленно села на снег...

Вернулись домой. Я положил хлеб на стол, смахнул с каравая хлопья снега. В корке темнело круглое отверстие.

— Что это? — спросил Серёга. — Мышка прогрызла?

Мать подошла к столу, взглянула на каравай, отломила корку. На стол грузно упала похожая на жёлудь тупоносая пуля.

СТРАННЫЙ НЕМЕЦ

Каратели стали появляться каждое утро, а вскоре в нашей деревне и ещё в трёх соседних разместились целая часть. Солдаты жили в каждом доме, захватив чистую половину. Чуть ли не целый взвод разместился в брошенных хоромах Антипа Бородатого. На дворе у Фигурёновых дымила походная кухня, возле хлева Тимофеевых стояла санитарная машина с красными крестами на жестяной обшивке. Рядом с нашим домом установили пулемёт, поставили часового. Ночью часового прятался в тени сарая. Чтобы не замёрзнуть, заступивший на пост солдат надевал поверх шинели тулуп, сапоги совал в огромные соломенные лапти...

Кормили немцев как на убой: густым фасолевым супом, гуляшом, жарким, пудингом и ещё чем-то. Насытись, солдаты как-то предложили нам с Серёгой доесть то, что осталось в котелках. Я отказался, похлопал по нарочно надутому животу. Серёга посмотрел на мать,

потом на меня, отказался тоже. Боясь, что братишка может проявить слабость, я отвёл его к печке и поднёс к его курносому носу кулак...

В середине дня солдаты уходили прочёсывать лес, поднималась пальба, люди в деревне боялись выйти на улицу...

Наша семья вечеряла, когда в дверь негромко постучали.

— Соседи, наверное. — Мать поднялась из-за стола.

Дверь отворилась, и мы увидели, что на пороге стоит немец, один из тех, что поселился в Антиповом доме. Нежданный гость был в длинной шинели, с чёрным ножом в ножнах и санитарным подсумком на поясе, немного сутул, худощав; на погонах — нашивки ефрейтора. В руках у санитара были котелок и буханка хлеба.

— Хочу немножко меняйт... Ви давать млеко — полушать хлеб. Меня больной желудок — ошень-ошень надо млеко. Один литра.

Голос у санитара был негромкий. Я удивился: обычно немцы разговаривали так, будто русские глухие. Мать взяла с полки кринку, налила в котелок молока, хотя его и самим было мало: половину удоя брали те, что жили в доме, и брали без всякой платы.

Немец мягко улыбнулся, положил на стол хлеб. Буханка была небольшая, на верхней корке выдавлены цифры.

»Считают каждую буханку», — мелькнуло у меня в голове.

Из кармана шинели гость достал столбик леденцов.

— Для ваши мальтшик... Я иметь свой детишка. Драй! Три детишка. Меня называть Петер. Петер Хаазе.

Петер снял ушастое кепи, и мы увидели, что он лыс, будто яблоко.

— Я биль ушитель, работать школа. О, Пушкин! Я читать Пушкин! На немецки язык, в переводе.

И санитар начал читать стихотворение. Мы слушали, затаив дыхание, хотя ни слова не понимали. Это был какой-то другой немецкий язык, не тот на котором разговаривали фашисты. Их язык был отрывистым, хриплым и властным. Слова стихов звучали плавно и чисто. Я вдруг увидел, что у немца голубые глаза...

Дочитав стихотворение, Петер попрощался с нами, ушёл, неумело держа плескучую ношу.

Наутро пришёл снова, наткнулся в сенях на пустое ведро, чуть не упал. Тихонько постучал в дверь, вошёл как-то боком — нескладный, чем-то встревоженный, с невесёлыми глазами.

— Здравствуйт. Я опять млеко. Ваше млеко ошень хорош мой желудок. Целая ночь не спать. Биль облава на лес. Партизанен ранить шетверо зольдат. Они ловить партизанен.

— Поймали? — спросила мать настороженно.

— Какой поймаь! Лес огромная! Много чечерев, заяц, волька... Майн официир шуть не ломать нога...

Налив в котелок молока и спрятав банку мясных консервов, принесённую санитаром, мать сняла с полки чайную чашку, достала из шкафа бутылку с самогоном.

— Может, пан санитар выпьет?

— Выпивайт? Большим удовольствием! Такой война надо выпивайт!..

Я видывал, как пили немецкие солдаты: стол полон снеди, бутылки бесконечно ходят по кругу, словно в ней целая река вина. Немцы поют и потихоньку, глотками пьют из чашечек величиной с крышку жёлудя.

Петер выпил всю чашку разом, словно деревенский выпивоха, и даже не поморщился.

— Проклятый война! Я завидовать русским. Мы вас побеждайт: Россия — мир, вы — карашо работать. Пахай, коси, убирайт урожай на поле. Гут! А дойчен плёхо. Опять воевайт.

— А если не воевать? — спросила мама. — Если уйти к нашим?

— Найн, — покачал головой Петер. — Я бояться эсэс. Они сажайт концлагерь мой шена, детишка. Надо быть на служба. Воевайт, воевайт, аллес воевайт... Никакой нет конец!

Петер ушёл, напевая какую-то песню, оступаясь, шатаясь из стороны в сторону, расплёскивая молоко, тяжело стуча сапогами.

На другой день потеплело. На окнах совсем растаяли ледяные наплывы. Я быстро оделся, выбежал на двор. Мимо проковылял Петер в широко распахнутой шинели. Коротко глянул на меня, что-то прокричал на ходу. Глаза ефрейтора сияли. Видно, он тоже радовался тёплой погоде...

Взвизгнула калитка. Покачиваясь, на двор вошёл незнакомый солдат — нескладный, длиннорукий, носатый. Потоптался, помочился в сугроб. За спиной у солдата покачивался карабин. Солдат снял карабин, прицелился в почтовый ящик, висевший без дела на воротах Антипова дома. Стрелять, однако, не стал.

С крыльца неожиданно сбежала мать, в руке — подойник, на плечах — внакидку полушубок. Солдат вытаращил глаза, закинул карабин за спину, бросился наперерез матери. Полы шинели развевались, будто парус. Подбежав, солдат вцепился в полушубок, явно намереваясь его снять. Мать не растерялась, вырвалась, метнулась к сараю.



— Хальт, хальт! — завопил солдат. Сорвал с плеча карабин, щёлкнул предохранителем, поймал бегущую мать на мушку. Та в страхе выронила подойник. Я так и застыл на месте...

Тишину разбил отчаянный крик. К пьяному солдату бежал от крыльца Петер с чёрным ножом в руке. Налетел, вырвал свободной рукой карабин. Солдат пошатнулся, присел на снег...

Со всех сторон спешили немцы. Схватили пьяного, увели. На крыльце белел пустой котелок, забытый санитаром...

Целый день мы с матерью сидели дома, не решаясь выглянуть на двор. Мать хмурилась, думала о чём-то своём; затопила печь, долго смотрела на огонь. Я вспомнил, как однажды к нам зашли партизаны. Среди гостей был пулемётчик в немецкой шинели без погон и

нашивок. Сперва я подумал, что это партизан, надевший немецкую форму. Но пулемётчик заговорил, и стало ясно, что перед нами немец. Было видно: в отряде его ценят и уважают... Вот если бы и Петер перешёл к партизанам!

Котелок санитара стоял на столе. Мать сняла крышку, всклень налила котелок молоком.

...Петер пришёл поздно вечером. Негромко постучал в дверь, потоптался у порога. Вместо кепи на голову у санитара был надет стальной шлем, за поясом — граната с деревянной ручкой.

— Прочайте, млеко не надо. Меня посылают экспедиция. На партизанен. Война любая минута. Партизанен убивайт много наша шеловек. Прочайт!

Положив на стол буханку хлеба и кусок сыра в грубой бумаге, Петер поклонился матери и исчез за дверью. Видно, торопился к своим.

— Не такой уж он и добрый, — сказала мать.

...Прошло несколько дней. В деревне поселилась новая смена солдат. И вдруг вернулся Петер — решительно вошёл в комнату, шумно поздоровался, снял и повесил на гвоздь длиннополую шинель, стащил с головы шлем, бросил на лавку. На суконном френче санитара я с удивлением увидел новёхонький Железный крест.

— Партизанен убивать наш пулемётчик. Я немного штреляйт, получайт этот награда.

Мать хмуро молчала, Серёга ещё крепче прижался к матери, рядом с которой он сидел за столом. А Петер, ничего не замечая, достал из кармана плотный серый конверт, вынул из конверта фотографию.

— Мои шена и детишки... Смотреть, пошалуйста!

Мать мельком взглянула на фотографию, вернула её немцу.

— Я ошень устал... Мошно немношко млеко? — И Петер протянул матери флягу.

— Молока нет, — ответила мать спокойно. — Болеет корова.

— Я могу лечить, — оживился Петер.

— Не надо... Она уже поправляется.

Мать говорила неправду: она только что подоила Желанную. Недоумевая, санитар надел шинель, взял с лавки каску. Шагнул к порогу, но, вспомнив о чём-то, вернулся к столу, положил на столешницу ярко-оранжевый апельсин, завёрнутый в папиросную бумагу:

— Для ваших мальтшик...

От апельсина исходил удивительный запах. Перед войной отец как-то привёз из города дюжину апельсинов. Отец говорил, что апельсины растут в Испании. Там долго, как и у нас, шли бои, но победили фашисты.

Когда Петер ушёл, Серёга мигом развернул тоненькую бумагу. Но я оказался проворнее брата: схватил апельсин, вылетел на крыльцо, изо всех сил швырнул его вдогонку санитару. Прочертив огненную дугу, апельсин нырнул в снег...

Ничего не понимая, на меня смотрел с дороги санитар.

Вскоре фашисты ушли из нашей деревни. В колонне был и Петер — с пулемётом незнакомой мне системы.

ЛЕС ДЕДА СЕМЁНА

Второе военное лето оказалось дождливым, хмурым. На лугу стеной стояла непроходимая трава. Траву около леса никто не косил. Любой, кого каратели схватят в лесу или на опушке, считался партизаном.

Такую густую траву я видел впервые в жизни. От травы веяло страхом.

Партизан становилось всё больше, но на какое-то время их оттеснили каратели. В деревне вновь поселились солдаты.

Утром меня разбудили выстрелы. Я подумал, что идёт бой, но стреляли не так уж часто, и выстрелы звучали глухо. Я выскочил на крыльцо и увидел солдат, которые цепью двигались по болотине рядом с озером. Около болотины стояли офицеры с охотничьими ружьями. С мочажины снялся утиный выводок, и офицеры вновь принялись палить. От страха на наш огород залетели белые куропатки...

К вечеру стрелять перестали. Мы сели ужинать. Стол стоял в сарае. В доме жили немцы, и даже заходить туда было нам запрещено. Спали на молодом сене, умывались на озере. Дверь сарая скрипнула, вошёл старик в армяке серого шинельного сукна. На широкий воротник падали седые космы. Это был дядя нашей матери — дядя Семён из деревни Жерныльское. До войны он часто бывал у нас, ходил с отцом на тетеревов и зайцев. У деда Семёна было шомпольное ружьё крупного калибра, стрелявшее будто пушка... Мы с Серёгой во все глаза смотрели на деда, а он уже раскладывал на столе подарки: положил буханку хлеба, точно такую, какими платил за молоко Петер, кольцо колбасы, плоскую банку консервов с дамой пик на этикетке.

— Работать вот заставили. Вожу немцев на охоту, вместо егеря...

— Что ты, дядя Семён!.. — Мать переменялась в лице. — Да лучше умереть с голоду! Дед Семён достал из кармана тоненькую алую коробочку, подцепил ногтем сигареты, закурил, щёлкнул серебристой зажигалкой. Корявое дедово лицо утонуло в сигаретном дыму.

— Что я, в полицию пошёл, что ли? Велели — не откажешься. И кормиться надо. Вы, скажем, рожь сеете, а муку немец отбирает. Вроде барщины. А я теперь, скажем, подался в батраки. В лес к нашим идти — не те года... Мешать буду, а не помогать...

Мать отвернулась, задумалась.

— Всё равно уходить надо!

— Нет у меня выхода. Помирать-то нет охоты. Пожить надо бы ещё малость. Хотя бы одно летичко... В лесу вольготно, ласково... Будто в раю!

— Уйди ночью, дядя Семён.

— Куда идти-то? Везде догонят, окаянные.

— Больным скажись. Нарви лютика, дело нехитрое.

— Ладно, подумаю... Берите хлеб-то. Знаю, как вам живётся. А мне пора. Полковник ох сердитый, страшнее барина...

Я ничего не понимал. Что-то было не так...

Охотничать дед Семён любил больше жизни. Ещё подростком убежал в лес с отцовским ружьём. Парнем пожил немного в городе, но затосковал по родным борам, вернулся. В гражданскую войну воевал против белых, был ранен в ногу. Люди думали, что теперь-то уж он бросит охоту. Не бросил.

— И хромой я стрелок, — шутил дед Семён. — Вышел за огород — и ты на охоте!

Дед стал работать сторожем и каждую свободную минуту пропадал в охотничьих угодьях. И без конца радовался тому, что прежде по торопливости не замечал.

Дед Семён не раз брал меня с собой, благо лес рядом. С дедом в чаще было совсем не страшно. Старик не спеша ковылял от ёлки к ёлке, и я не отставал от него ни на шаг. Мне доверялось нести корзину-корянку, в которую мы складывали грибы и ягоды. Порой деду удавалось взять тетерева, мы весело кричали «ура». Добычу прятали в корзину. Брови у тетеревов были ярче брусники. Заполевав дичину, дед Семён оставлял ружьё незаряженным.

— Надо же и другим что-то оставить, — говорил он с улыбкою.

Но охота продолжалась. Мы прятались за елью, следили за палевыми зайчонками, наблюдали за ястребом, за белыми куропатками, клюющими голубику...

Однажды нас до смерти напугал сорвавшийся с поляны глухарь — большущий, больше нашей корзины.

Мы ели ягоды, пили морозную воду из родника-кипуна. В нашу деревню мы возвращались в вечернем тумане. Дед шутил: «Смотри, заяц пиво варит. К празднику, видно...»

Наутро дед Семён пришёл снова. Под мышкой у него была гармоника. От широкой, помелом, бороды пахло вином. Сел на лавку, заиграл... Я вспомнил, как однажды мы с отцом шли по лесу. В боровине выли волки. Было тогда страшно, больно замирало сердце. Дед Семён сейчас играл так, что мне стало не по себе — как тогда, на просеке...

— Был как-то с полковником в бору... Барин. Палит по всему, что видит. В лосягу стрелял, зайчишку малого подшиб. Жадные они, фашисты. Победят если, всё по-своему переделают. Дивился полковник: сколько добра пропадает. Мы, говорит, курорт здесь построим. Пусты только: лес вырубят, в озере карпа разведут, холмы и те сроят, чтобы пахать было легче... — Старик встал, ударил по столу кулаком.

Уходя, дед Семён отдал матери гармонику.

— Побереги инструмент. А то ещё играть для потехи заставят. Вчера насчёт бороды смеялись... Мол, сбрить надо...

Дед ушёл. Было видно: мучается.

В деревне Жерныльское наш дед слыл чудачком. Собирали жёлуди, а когда набрал целый мешок, засеял ими лесное огнище. Перед войной дубки были уже в мой рост.

Прошло несколько дней. Перед вечером в сарай влетела тётя Паша Андреева, на ней не было лица.

— Деда Семёна взяли, в офицера стрелял... Не убил, помешало что-то. У немца голова бинтами замотана. Я сама видела, везли на телеге.

Тётя Паша была нашей родственницей, а значит, и родственницей деда Семёна. Заплакала вдруг, не скрывая слёз.

Я поднялся на сеновал, уткнулся лицом в сухое сено. Ночью мы с матерью не спали.

Серёга без конца просыпался, жалобно всхлипывал. Я лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к каждому шороху.

Едва рассвело, мать куда-то ушла. На улице сияло солнце, но мы с Серёгой не решались выйти на двор.

Мать вернулась не скоро. Встала у входа, прислонилась к косяку.

— Расстреляли нашего деда Семёна. Ещё вчера вечером. Просила, чтоб сказали, где зарыт. Переводчик засмеялся: «В лесу». А лес — огромный... Хотят, чтобы и памяти о человеке не было.

За озером начался бой, и фашистов, словно метлой, вымело из деревни. Мать затопила печь, нагрела воды, запарила в кадке с горячей водой куст можжевельника, вымыла этой водой всё, что можно было вымыть, чтобы и духом чужаков в доме не пахло...

Целыми днями ходил я по лесу, искал холмик земли. Не нашёл. Упал в густую траву, прижался к земле. Рядом шумели ёлки. Они были такими же, как и тогда, когда мы с дедом Семёном ходили на охоту...

Я понял: деда нет и не будет. Но цел дедов лес. Просто убить человека, можно убить и лес... Нет, этого не будет! Люди не дадут! Налетел ветер, лес зарокотал. Пролетели тетерева, пробежал заяц.

Будто большая синяя крепость, стоял лес деда Семёна.

КОМЕНДАТУРУ СОЖГЛИ

В конце весны на Горбовом хуторе разместилась немецкая комендатура в пустовавшей школе и двух соседних домах, жителей которых выселили — кого в нашу деревню, кого в Усадино. Хутор был совсем близко от нашего дома, за озёрным заливом; мы видели всё, что там происходит, а если не дул ветер — слышали каждое слово.

В двух небольших домах разместились полицейские (полицаи, как их у нас называли), а в школе устроились офицеры, их денщики, военный фельдшер и переводчик. В хлевах стояли немецкие кони, в одном из сараев фашисты устроили склад оружия и боеприпасов. Форма у полицаев была немецкой, а оружие — русским: видимо, его захватили во время наступления или собрали там, где шли бои. Автоматов у немецких прихвостней не было — самозарядные карабины, ручные и станковые пулемёты. Патронов и оружия был полон сарай. Пробуя его, немцы и полицаи палили по лесу и озеру; пули то и дело залетали в нашу деревню. Выходить на улицу было страшно, на озере перестали ловить рыбу...

Потерянный, я часами сидел у окна, смотрел на поле и лес. Всё, что было до войны, виделось далёким-далёким. Прежде лес представлялся мне голубым, сказочным городом.

С тех пор как ушёл воевать отец, лес потемнел, стал похожим на огромное войско. Переменилось даже небо. Прежде оно было весёлым, приветливым, но вдруг стало хмурым и отчуждённым. И солнце словно бы потускнело...

Всё чаще то там, то тут стали подниматься клубы тёмного дыма.

— Дома жгут, — встревоженно говорила мать. — У тех, кто связан с партизанами.

Рано утром мимо нашего дома строем прошли полицаи. Лихо гремела песня, покачивались стальные шлемы, подпрыгивали на плечах карабины и ручные пулемёты. Оружие у полицейских было русским, трофейным, и это почему-то пугало пуще грохота кованых немецких сапог.

Вечером я снова увидел полицаев, теперь они уже не шли, а ехали на подводах.

Подводчики — деревенские старики и подростки — вели коней под уздцы. Повозки были завалены мешками с мукой, узлами, каким-то скарбом. Показалась хвостовая подвода. На ней стоял огромный кованый сундук, сидели фельдфебель и офицер в каляном дождевике. Из соломы торчал ствол пулемёта. Оба немца весело улыбались. За подводой трусила комолая тёлка, привязанная к грядке гремячей цепью.

Обоз выкатился за околицу, потянулся к Горбову хутору.

— Ух, уехали... — выдохнула мать...

В субботу мать собралась топить баню, вышла на двор, и тотчас вернулась испуганная.

— Немцы... Ищут кого-то.

В дом вошли двое полицаев, приказали идти к Антипову дому.

— Зачем? — спросила мать в недоумении.

— Будешь много знать... — И полицай грязно выругался.

Вскоре были собраны все жители деревни. Возле ёлок залегли трое полицаев с пулемётами. Щекастый обер-фельдфебель зачем-то пересчитал людей. Толпу оцепили, и на крыльцо дома, где прежде жил Бородатый, поднялся офицер с четырьмя ромбиками на погонах и чёрной кобурой парабеллума на поясе.

— Кто стрелял комендатура? — крикнул офицер, багровея.

Толпа молчала, лишь заплакал маленький ребёнок.

— Я повторять. Кто стрелял комендатура?

— Может, из леса кто стрельнул? — выступил вперёд дед Иван.

— Молшать. Деревня есть много прятать оружие. Будем обыскивать деревня.

Кольцо сцепления разомкнулось, и рослый полицай велел всем идти к озеру. Ничего не понимая, люди вышли на берег, замерли в нерешительности.

— Всем входить в вода... — весело выкрикнул офицер. — В вода стоять смирно, молшать!

Размахивая прикладами, полицаи погнали людей вниз, прямо в воду. Женщины взяли на руки маленьких детей, даже мать подхватила Серёгу.

— Глюпше, глюпше, — командовал обер-фельдфебель. — По самый шея, по плечи!

По деревне уже сновали полицаи, заглядывали в хлевы, торкали вилами в солому. Чёрная овчарка тащила за собой на поводке шуплого проводника. Всё было словно в страшном нелепом сне. Люди молча мокли в воде, на берегу стыли конвойные, лежали за пулемётами пулемётчики. Люди — все до единого — стояли спинами к берегу, никто не решался оглянуться. Каратели отражались в озере, и даже на их отражение было страшно смотреть. У меня были спрятаны под сеном граната и ракетница, я боялся даже подумать о том, что будет, если их найдут...

К счастью, чужаки ничего не нашли, кроме старого ружья, схороненного в брошенной бане. Все знали, что ружьё деда Ивана, но все, как один, показали на пустующий дом Антипа.

— Козяин где? — резко спросил офицер.

— А партизаны увели, — весело отозвался кто-то из толпы.

Полицаи заволновались, к офицеру подбежал фельдфебель, что-то сказал на ухо. С людей ручьями лилась вода, но никто не выжимал одежду. Лишь когда фашисты ушли, кое-как успокоились. Я достал ракетницу и гранату, спрятал на пустыре под камнем...

На другой день велено было сдавать в комендатуру продукты. К стене нашего дома прибили приказ, люди читали его, крутили головами.

— Прямо барщина какая-то!

Мать принесла из чулана корзину с куриными яйцами, кринку коровьего масла, узел с овечьей шерстью, наказала Серёге не выходить из дому, а меня взяла с собой.

Добрались до хутора быстро. Возле домов были вырыты окопы, под ёлками ходил часовой. На нас он не обратил особого внимания. Вот и бывшая школа. Возле завалины стояли четыре станковых пулемёта, чистенькие, старательно смазанные.

В стороне горою лежали артиллерийские гильзы, охотничьи капканы, винтовочные стволы, охотничьи ружья. Было среди них и ружьё деда Ивана, оранжевое от ржавчины.

Окна школьного дома были затянуты противогранатными сетками. Вблизи крыльца я увидел походную кухню. Продукты принимал повар в белой куртке, надетой поверх военной одежды. Он стоял среди ящиков, что-то записывал в толстую тетрадь, придирчиво осматривал и взвешивал принесённое. Масло он пробовал на вкус, каждое яйцо просматривал на свет...

С крыльца спустился офицер — тот самый, с четырьмя ромбиками на погонах. В руке у него был разговорник.

Комендант подошёл к повару, по-хозяйски осмотрел продукты и всё остальное. Офицер был невысокого роста, с узким бледным лицом, в новеньком голубоватом мундире и сапогах со шнуровкой и шпорами. И весь будто нарисованный: ни пятнышка на одежде, лицо словно из белого камня.

Вновь заскрипели ступени крыльца. Из комендатуры вышла босая женщина, с трудом заковыляла по дороге. Платье её было спереди серым, а сзади — багрово-красным.

— Получила на орехи, — захохотал стоящий поблизости полицаи. — Патефон прятала, пластинки советские... Вот и дали бабе шомполов!

Ночью я не мог уснуть, думал о партизанах. Ненароком я слышал, что зимой главные силы партизан таились в дальней лесной местности, но с весны вновь появились в нашей округе, и всё больше парней просят к ним в отряды. Почему же партизаны медлят, горевал я, почему не ударят по немцам?

На другой день мы с братом решили поставить сети. На озере сети ставить было нельзя: сразу дадут очередь из пулемёта, едва увидят косягу. Придумали взять с собой верёвку, перегородить сетью Лученку.

Вышли из дома поздно, возились с сетью долго, и когда наконец она была установлена, совсем стемнело. Домой возвращались в потёмках.

— Там кто-то ходит! — испугался братишка. — Слышишь?

Мы стояли на опушке. В лесу действительно что-то происходило: мне показалось, что движутся заросли можжевельника... Схватил Серёгу за руку, потащил за собой...

Мы были уже рядом с домом, когда стукнул выстрел и над озером, пыля огнём, прочертила полукруг ярко-белая ракета. И тотчас ударили пулемёты. Над озером, над полем, над нашим огородом прожгли темноту трассирующие пули.

Я плечом толкнул брата, повалил в траву и сам упал рядом. Поползли, прижимаясь друг к другу. В огороде увидели бегущую мать...

— Мама, — пронзительно закричал Серёга, и тонкий крик его прорезался сквозь грохот. Мать подбежала, оттащила братишку к окопу, вырытому нашими бойцами ещё в сорок первом году.

Озеро хорошо доносит звуки. Казалось, стреляют совсем близко. Заухали взрывающиеся гранаты. Сквозь треск выстрелов было слышно, как орёт, командуя, голосистый обер-фельдфебель...

Вдруг стало светло как днём. Поборов страх, я привстал, выглянул из окопа. Горела комендатура, пылал ещё один дом. Над озером в полнеба стояло зарево. На его зловещем фоне метались фигуры людей...

Прошло, наверное, много времени. Стрелять перестали. Не взрывались и гранаты. Над лесом поднялось солнце, залило светом наш окоп. Радуюсь солнцу и тишине, мы выбрались из окопа, вышли к озеру.

Берегом, в сторону хутора, шли и бежали люди. Я не выдержал, бросился следом.

Истошно закричала мать, но меня уже ничто не могло остановить. Я сам должен был всё увидеть, своими собственными глазами!

На месте комендатуры дымилось огромное пожарище. Пахло золою, смрадом. В траве лежали убитые, рядом с одним из убитых полицаев лежала граната с вырванным кольцом. Трава была сплошь засыпана гильзами, от которых остро пахло сгоревшим порохом. Под елью я увидел ящик, полный куриных яиц, валялись коричневые банки мясных консервов, коробки противогазов. Попалась под ноги пишущая машинка... Сапёрные лопатки, обшитые войлоком фляги, одинокий сапог, книжка в кожаном переплёте. Одурающе пахло гарью.

На берегу озера стояли подводы. На телеги, будто дрова, грузили трофейное оружие — русские карабины и пулемёты вернулись к своим. Несколько партизан копали яму, спешили.

— Стой! Ты здесь зачем? — На меня сердито смотрел Митя Огурцов. За плечом у него был пулемёт Дегтярёва. Карабин он больше не носил. И его пушки не было видно. Спросить же про неё я не решился.

— А ну, живо домой! — И Митя дал мне коленкой под зад.

И тут я увидел коменданта. Мокрый с головы до пят, весь в зелёной ряске, босой, белый, как полотно, офицер, морщась от боли, ковылял по каменистой тропе. Следом шагал партизан, совсем ещё мальчишка, моложе нашего Мити. В руках у партизана был иссиня-чёрный немецкий автомат. Бывший комендант горбился, шёл по-стариковски медленно, шаркая мокрыми ногами. От прежней выправки не осталось и следа.

Пленный покосился на пожарище, мельком взглянул на меня. Глаза у немца были водянистые, пустые от страха.

На околице нашей деревни меня ждала мать.

— Началось! — сказала мама радостно. — Теперь недолго осталось ждать. Наши вернутся, и отец вернётся. Обязательно!

КОЗЁЛ ЯКОВ

В жаркие дни стадо в нашей деревне становилось словно бешеное. Спасаясь от гнуса, коровы и телята уходили в озеро, часами стояли в воде. Овец донимала жара, и они убегали к лесу. Коза Машка — коз держала Андреева — и козёл Яков прятались в чаще. Характер Якова, без того нелёгкий, в войну совсем испортился. Как чёрный вихрь, носился он по полю, забегал в деревню, пугал старух, осмелел до того, что стал нападать на мальчишек.

А тут появились солдаты. Я никогда не видывал такого войска. Немцы шли в пешем строю, ехали на чёрных военных велосипедах, катили в фургонах и бронетранспортёрах. В лесу били крупнокалиберные пулемёты, звук очереди был похож на лай, люди называли эти пулемёты «собаками».

Несколько велосипедистов завернули в нашу деревню, потребовали молока. Карателей томила жара. Рукава мундиров у них были закатаны, пуговицы расстёгнуты. Часть молока немцы разлили по флягам, остальное выпили. И тут на дороге появился Яков и, не мигая, уставился на темноволосого смуглого немца. Лицо карателя было похоже на козлиное, только у Якова глаза были жёлтыми, а у немца серо-голубыми. И волосы на груди — как шерсть у Якова — чёрные.

Яков смирёхонько подошёл поближе. Смуглолицый достал из нагрудного кармана сигарету, сунул Якову в губы. Козёл пожевал сигарету, поморщился и вдруг вцепился

зубами в велосипедную шину. Солдаты схватились за оружие, но козёл сшиб одного, сшиб другого и унёсся к озеру. Немец со смуглым лицом сорвал с плеча автомат, прицелился, но другой солдат отвёл чёрный ствол в сторону. Я понял: это — разведка, немцам запрещено стрелять без дела...

Разведчики укатили, а Якова впервые в жизни решили лишить свободы. Цепи хозяйка Якова не нашла, верёвку искать не стала — всё-равно перекусит, пошла было к соседям, но неожиданно увидела в траве оранжевый провод. Женщина подёргала его, но шнур оказался длинным. Оказавшийся поблизости Серёга охотно помог женщине, притащил топор. Хозяйка козла отрубила сколько нужно провода, вырубил в кустах кол и привязала животину к колу. Глубоко обиженный, Яков не стал щипать траву, лёг наземь... Возвращаясь с озера, я увидел двух солдат с карабинами. Один из немцев вертел в руках конец телефонного провода, другой что-то искал в траве. Вдруг он поднял такой же провод, что-то прокричал товарищу.

Яков долго не мог понять, почему его тащут по земле незнакомые люди в зелёной одежде. Потом озлился, бросился на обидчиков. Видимо, связистам было запрещено стрелять, если нет опасности. Отбиваясь прикладами, немцы отступили к нашему саду. Яков ещё сильнее остервенел, оборвал провод, вновь налетел на связистов. Лишь глухой сад спас их от расправы.

Я чуть не падал от смеха, но тотчас мой смех погас: в деревню входили каратели. Немцы ехали в фургонах, запряжённых парами коней. Сидели они так тесно, что каски ударились одна о другую.

Головной фургон остановился возле нашего сарая. Солдаты торопливо спешили, рассыпались по деревне. Вместе с солдатами были офицер и переводчик. Быстро собрали людей, и переводчик сказал:

— Ваша деревня помогает партизанам. Германское командование приказало отобрать у вас скот. Если кто не подчинится приказу — расстрел!

Не дожидаясь особой команды, солдаты уже хозяйничали в деревне, с хохотом ловили кур, выгоняли коров и телят, хватали и несли к фургонам отчаянно блеющих овец, палками убивали гусей. Мелкую живность немцы бросали в фургоны, туда же складывали связанных овец. Коров и телят привязывали к повозкам сзади. Офицер и переводчик были пьяны. Солдаты торопились: видимо, боялись партизан.

Бежать к партизанам, сказать? Но где они, как найти? Люди что-то говорили про Сорокинский бор. Там они, там!

К повозкам подвели упирающегося Якова. Увидев офицера, козёл вновь пришёл в неистовство, не раздумывая, налетел, ударил рогами. Немцы схватились за оружие. В тесноте стрелять было опасно, но Яков, не чувствуя опасности, бросился в сторону леса. Бешено застучал автомат. Козёл оступился, упал, встал с трудом, пропал среди елей.

»Ранили», — понял я в ужасе.

Не дожидаясь, когда каратели уедут, я забежал за дом, скатился под берег, припустил к лесу. Там был Яков, но спешил я не к нему. В лесу паслись последние две лошади, которые остались в деревне. Пасли их по очереди, на ночь запирали в выгородке. Звали лошадей Буланы и Резвая.

Кони щипали траву на маленькой полянке, рядом ходил с палкой на плече Саша Тимофеев.

— Каратели скот увели, к партизанам надо!

— Я мигом, я сейчас... — Саша отдал мне палку, снял с Резвой путы, быстро и ловко накинул уздечку. Саша был лишь на полгода старше меня, но любил коней и знал, как с ними обращаться.

— Подсади, — попросил Саша, ухватив Резвую за холку.

Я помог.

— Партизаны в Сорокинском бору, торопись!

— Не в Сорокинском, а в Рожневском. Стереги Буланого!

Саша умчался по просеке. Буланый, не очень ещё старый мерин, мирно щипал траву. Я взял палку, присел под елью на тёплую иглицу. Сквозь дрему уже в сумерках я услышал отрывистый конский топот. Из темноты вылетел Саша, прыгнул с Резвой, весело подошёл ко мне.

— Запомни: ты ничего не видел, ничего не знаешь! Приказано!

Поставив лошадей в выгородку, мы припустили к деревне. Мать стояла возле хлева, смотрела на дорогу.

— Увели Желанную?

— Увели, сын... Всех коровушек увели!

...На тёмной заре я услышал негромкое мычание. Ничего не понимая — снится, может? — привстал с постели, приоткрыл глаза. В окне что-то большое, мохнатое.

— Желанная пришла! — закричал, разбудив мать и Серёгу.

Всей семьёй выбежали на двор, принялись обнимать корову. Потом мать отвела её в хлев, задала сена, подоила. Вдохнув, Желанная легла на солому. Мы с Серёгой присели рядом. Братишка нежно, будто кота Василия, погладил корову, прижался к её тёплому боку.

Когда сели пить молоко, прибежала Матрёна Огурцова:

— Митя мой объявился. Только говорить было некогда. Из боя и опять, видно, в бой...

Побили наши грабителей. Семерых сами потеряли. Парни-то свои, здешние. У одного рука гранатой оторвана.

Потом прибежали оба Саши, позвали меня искать Якова.

— Люди уже видели его, да в руки не дался, — на бегу сообщил мне Саша Андреев.

Козла нашли на старой, заросшей кипреем гари. Он спокойно смотрел на нас, мне даже показалось, что Яков улыбается. Когда подошли ближе, стало видно багряное кровавое пятно на шее козла. Саша Тимофеев снял с себя ремень, накиннул Якову на рога...

Вечером я вновь увидел отважное животное, на шее Якова белел бинт.

ОЛЕГ ИЗ ПЕРВОГО ПОЛКА

Как-то утром я пошёл за ягодами. В лесу земляника ещё не поспела, пришлось вернуться на опушку. Вдруг я почувствовал, что кто-то на меня смотрит...

Рядом стоял мальчишка года на три-четыре старше меня. Он словно вырос из травы. Чуть выше меня ростом, тоненький, с белыми, как сметана, волосами. Глаза синие-синие, как у Серёги.

— Заяц тут не пробегал? — спросил мальчишка серьёзно.

— Нет, куропаток видел, во-он там сели...

— Меня Олегом зовут, — как бы между прочим сообщил мальчуган.

Я на всякий случай назвалса тоже.

— Тут никакие подводы не проезжали?

— Какие-то проезжали по дальней дороге. Вроде бы каратели...

Утром я видел и партизан, их было трое, промчались на конях берегом озера, но рассказывать об этом незнакомым, я понимал, не стоит.

— Это хутор Горбово? — Олег показал рукой на крыши Усадина.

— Нет, не Горбово... А куда тебе надо?

— В Горбово, там у меня тётя живёт.

— Иди по берегу, не заплутаешь...

— Ну, пока, — улыбнулся мой новый знакомый и зашагал в сторону Усадина.

Война искалечила всё вокруг, искалечила и озеро. Каратели глушили рыбу гранатами и пашками тола. Дно вблизи берега было сплошь изрыто воронками...

Когда поспевает земляника, нерестится линь. Мы с матерью решили поставить сети.

Стояло лето, а жили мы впроголодь. Хороший улов мог бы поправить дело. Можно было бы сварить уху, нажарить рыбы, часть её обменять на нужные продукты.

Рыба, однако, не шла в сети, как мы с мамой ни старались. Я сказал матери, что отец любил окидывать камыши. Мать послушала меня, но сети снова оказались пустыми.

— Поставьте вон там... — раздался негромкий голос.

На берегу сидел Олег. Он был в сшитой из немецкой плащ-палатки рубашке, в штанах из той же материи, босой. День стоял хмурый, но мне показалось, что лицо мальчишки освещено солнцем.

— Вон там ставьте, — повторил Олег. — Поближе к ракитовому кусту, у самого берега. Бухать не надо, поменьше шума.

Стараясь не греметь глиняными грузилами, мать высыпала сеть. Поплавки на наших глазах стали вдруг тонуть.

— Крупная попала! — Глаза матери так и сияли.

Дрожащими руками выбирала она сеть. Будто латунные слитки, лежали на дне комяги тяжёлые чернопёрые лини. Я подбегал к берегу, считал пойманных линей, насчитал девятнадцать, и каждый линь был не меньше килограмма весом.

— Чудо! — ликовала мать. — Всю деревню накормим!

Я хотел дать несколько рыбин и мальчику, но его уже не было на берегу. Там, где он сидел, темнела примятая трава...

Вечером мы с Серёгой играли около леса.

— Гляди, партизаны! — схватил меня за рукав братишка.

Опушкой двигался партизанский отряд. Партизанам, казалось, нет числа. Одеты под цвет леса, обвешаны оружием — собственным и трофейным. Ярко белели бинты. Было видно, что отряд только из боя...

С особым волнением смотрел я на оружие. Партизаны несли автоматы и пулемёты всевозможных систем, карабины, винтовки и противотанковые ружья. У командиров — пистолеты, маузеры в жёлтых колодках...

Я увидел нового знакомого. Он шёл рядом с одним из командиров. За плечом у Олега был кавалерийский карабин, пояс оттягивал тяжёлый подсумок. Карабин был самой большой моей мечтой в войну. Олегу дали новёхонький: лаковое ложе, серебристый затвор, ствол иссиня-чёрного воронения.

Маленький партизан коротко улыбнулся, глянув на нас с Серёгой, но не остановился, не сказал ни слова.

Я смотрел вслед партизанам, пока отряд не пропал в тумане. Стало нестерпимо обидно: почему я так медленно расту, почему всё ещё маленький? Будь я таким, как Олег, может, и взяли бы в отряд, выдали карабин и подсумок...

О том, что увидел, я рассказал за ужином матери.

— Видно, Олег — разведчик, — сказала мать раздумчиво. — Мальчишки — самые лучшие разведчики, так партизаны считают.

— Почему? — вырвалось у меня.

— Ну, например, стоят немцы в деревне, целая часть. Ползком не подобрёшься: везде часовые, «секреты». Кто ни приди — глядят с подозрением. Не отпустят, пока часть сама не уйдёт из деревни. Допросят обязательно, а могут и расстрелять — для этого хватит подозрения. А мальчишки — для чужих-то — все на одно лицо. Шмыгнёт, как воробей, и всё, что надо, увидит.

— Мам, а партизан много? Наверное, сто... — сказал Серёга.

— Не сто, а тысяча, наверное... А вот в полку — не сто, а двести или триста. Рядом с нами целый полк воюет — Первый. И ваш Олег из этого полка.

Не прошло и дня, как отряд вернулся. Люди звали партизан в дома, но те, как один, хотели спать на сене. Мне захотелось поскорее найти Олега. Выбежали к озеру и увидели: новый мой знакомый сидит на берегу, смотрит на диких уток, что плавают возле нашей комяги.

— Давно в отряде? — спросил я, присев рядом с Олегом.

— Нет, не так давно...

— А меня могут взять? Если очень-очень попрошусь?

— Не возьмут, — сказал Олег. — У тебя — мать, братишка.

— Почему же тебя взяли?

— У меня нет никого. Отца повесили — партизан. Мать кто-то выдал, увели в город, расстреляли. Когда мать уводили, я в лесу был... Потом нашёл партизан. Лицо Олега стало хмурым, казалось, он вот-вот заплачет. Мне тоже стало не по себе. Хотелось утешить товарища, но как — я не знал...

— А в разведке... очень опасно? — спросил я, чтобы отвлечь Олега от его мыслей.

— На войне везде опасно. И в любую минуту. Вышел я вчера...

Олег осекся, боясь сказать лишнее. Я понял, что про военные дела партизан не спрашивают. Особенно про разведку.

— Тут у нас раки водятся. Отец руками в норах ловил.

— Люблю печёных раков, — оживился Олег. — Подержи карабин, только ничего не крути. Понял?

Карабин показался мне ледяным, и был он не так уж лёгок. От ствола пахло пороховой гарью — пугающим духом войны. Я прижал оружие к себе, сидел, боясь шелохнуться...

Олег удивительно быстро разделся, смело нырнул в тёмную воду. Раков он бросал в комягу, а когда набралось много, послал меня за ведром.

Когда я примчался на берег, Олега нигде не было. Я собрал раков в ведро, подождал немного, но искать друга не стал. Нельзя: а вдруг его послали на задание?

Серёга захотел спать с партизанами, позвал с собой и меня. Рядом с вооружёнными бойцами было не страшно, и мы мигом уснули.

Я жалел, что не смог поговорить с Олегом по-настоящему. Часами сидел на берегу, ждал...

Бой начался ранним утром. Стреляли совсем рядом, возле болотины.

Пулемёты били ещё громче, чем в Горбове в ту огненную ночь... Нам выбило стёкла, пули так и стучали по стенам. Мать схватила Серёгу, я бросился следом. Сбежали под берег озера, мигом добрались до леса.

Бой закончился, но люди — в лесу оказались стар и мал — долго не решались выйти из чащи. Наконец встала наша мать, позвала Матрёну и тётю Пашу Андрееву.

Вернулись «разведчицы» сами не свои.

— Партизаны убитых зарывают. Мальчик погиб, совсем маленький. — У матери перехватило горло, и она смолкла.

— Говорят, метко стрелял, — сказала вдруг тётя Паша. — А и самого пуля нашла.

— Кто погиб, какой мальчик? — бросился я к матери в испуге.

— Олег из Первого полка, разведчик...

Ко мне подошла тётя Паша, положила на плечо горячую руку.

— Отчаянный полк, вот и потери тяжёлые...

На другой день я отправился на место боя. Сперва вышел к немецкой позиции — в траве лежали зелёные гильзы, металлические ленты от пулемёта, гранатные «барашки» и картонные коробки из-под патронов. Пахло чужим, неприятным. И на каждом шагу бурые пятна, бинты.

Партизаны наступали с еловой гривы. Иглица была сплошь усыпана золотистыми гильзами, я шёл по звону. Поднял кольцо от гранаты, надел на палец. Оступился, попав ногой в воронку... Убитых не было, но я чувствовал дыхание смерти, её запах.

Вот и песчаный холмик, гильзы в песке. Догадался: закопаны партизаны.

Вместе со всеми — Олег. Я не мог представить его мёртвым, но не мог и — живым. Олег словно бы растворился в песке, траве и хвое...

Саша Тимофеев говорил, что убили Олега под кривой елью... Я нашёл страшное место, замер. Возле корневища ели что-то светлело. Я наклонился, поднял обойму с патронами, спрятал за пазухой в надежде на то, что и мне дадут оружие.

НА КРАЮ ПРОПАСТИ

Я не боялся, когда стреляли. Страшно становилось, когда стучали в дверь — резко, властно, прикладом, сапогами. Кто только не врывается в деревню: полицейские, егеря, эсэсовцы, снятые с фронта пехотинцы.

Хуже всего было по ночам. На столе чадила плошка; узенькое, что ивовый лист, пламя вздрагивало, металось, словно бы на ветру. Гудело в трубе, дуло из всех щелей. Казалось, вот-вот огонь погаснет. И жизнь наша была как это слабое пламя...

Зимой и свои, и чужие были в белом; под капюшонами не видно, что на шапке, — орёл или багряная лента. Полицай обязательно говорили, что они — партизаны. Бывало и наоборот. Приходилось угадывать.

Партизаны курили махорку и самосад, полицай доставали из карманов нарядные коробки сигарет, пачки душистого табака, который они называли «шапшал». Партизаны при детях боялись проронить бранное слово. Одежда врагов пахла карболкой и ружейным маслом, одежда партизан — лесом. Партизаны садились поближе к печке, радовались, когда мать предлагала молоко. Полицай спрашивали про самогон, бранились...

Хлопала дверь, и в дом врывались страх и мороз. Я затаивался на печи, Серёга прижимался к матери.

Партизаны приходили за помощью. Им нужен был проводник. В лесной и холмистой нашей местности не помогали даже подробнейшие карты. Приходили часто: дом стоял возле самой дороги. Мать уходила, возвращалась нескоро.

Партизан летом стало больше, и к нам они стали приходить почти каждую ночь. В ту ночь почему-то постучали не в дверь, а в окно. Мать открыла дверь, вошли двое. В одном я даже в полутьме узнал Митю Огурцова. Второй партизан был незнакомым.

— Буди старшего, — сказал Митя. — Есть дело.

— А он и не спит. — Мать улыбнулась, прибавила огня.

Спали мы одетыми, и через минуту я был у стола, на котором устроились партизаны.

— Садись, мужик, — предложил Митя. — Ну, вырос. Будто за уши тянули!

Незнакомый партизан, достал из полевой сумки пёструю карту.

— Покажи нашу деревню, — весело попросил Митя.

Я легко нашёл кружок, возле которого было голубое пятно — озеро. Тоненькой ниткой вилась по лесу Лученка. А вот и Усадино, хутор Горбов. Даже болотина была обозначена на карте.

— Слушай и запоминай. — Голос незнакомого партизана стал строгим. — Надо сходить сначала в Усадино, а потом в деревню Носова Гора. Вот она, за моховым болотом. В обеих деревнях стоят немецкие кавалеристы. Надо узнать, много ли их, как вооружены.

— У тебя есть дружки в этих деревнях? — спросил вдруг Митя.

— В Усадине есть, в Носовой Горе никого не знаю...

— Зайдёшь вот сюда, от леса. Если остановят, скажешь: «Иду в Усадино». Начнут узнавать подробнее, скажи, что заблудал. Тут у нас заблудиться проще простого.

— В Усадине иди берегом озера, от озера — по тропинке — в середину деревни. Чтобы часовые не увидели. Понятно?

Партизаны ушли, я вновь забрался на печь. Сон не шёл. Я ворочался с боку на бок, даже братишку разбудил.

Едва рассвело, слез с печи, обулся.

— Нельзя так рано, — нахмурилась мать. — Подожди немного.

Мне повезло: усадинские мальчишки играли около озера в лапту.

— Иди к нам, скорей! — позвал знакомый хлопчик.

В руке у него был чёрный мяч, вырезанный из пористой резины. Такую резину добывали из колёс подбитого за озером броневика.

— В лапту не интересно, — сказал я. — Вот бы в прятки... А?

— Народу маловато...

— Айда в деревню, народ будет!

Усадино было забито немцами в голубоватой форме. На улице теснились фургоны, в сараях тесно стояли кони. Почему-то двери сараев были открыты. Через сад тянулся чёрный резиновый кабель. Возле полевой кухни суетился повар с помощником. На крыльце нарядного дома стоял тяжёлый пулемёт. Потом я увидел ещё два таких пулемёта.

В прятки в Усадине играли возле глинобитной постройки. Стена её в первые дни войны была пробита снарядом. Когда водящий бросился за палкой, брошенной изо всех сил в сторону озера, я нырнул в знакомую дыру...

В полутьме я увидел миномётные трубы, зелёные ящики с боеприпасами.

Через полчаса всё было увидено и сосчитано. Я сказал мальчишкам, что надо идти домой, мать велела не задерживаться...

Торопясь в Носову Гору, я и на самом деле заблудился. От страха побежал куда глаза глядят, и вдруг увидел крыши домов. До деревни было не так уж и далеко.



Неожиданно я оказался около дороги. По дороге ехали каратели. В страхе я лёг, затаился в траве. Обоз оказался длинным, я насчитал сорок одну повозку, в каждой повозке сидело по пять-шесть фашистов. И вдруг кто-то из солдат увидел меня. Несколько подвод остановилось. Один из немцев спрыгнул на траву, пошёл ко мне. Если бы я просто шёл, можно было бы отговориться, но я прятался. Оглянулся: совсем рядом заросли ивы. Вскочил, побежал что было мочи. Ещё раз оглянулся: на меня смотрел ствол пулемёта. Пулемётчик лежал рядом с дорогой, целился... Я побежал ещё быстрее. Спине стало вдруг нестерпимо холодно. Очереди не было. Оглянулся в третий раз... Пулемётчик что-то кричал, передёргивая ленту. Видимо, её заклинило. Или пулемётчик пожалел меня. Тот, что шёл ко мне, рвал из кобуры парабеллум. Солдаты торопливо спрыгивали с повозок. Вот и кусты. Выстрел. Пулемётная очередь. Пули секли заросли, косили траву. Я упал, пополз быстро как мог. Едва пулемёт замолчал, вскочил, побежал, заслоняясь от веток... Посреди деревни меня остановили мальчишки:

— Ты не видел, где это стреляли? Наши? Каратели?

— Не знаю... — Обессиленно присел на откос канавы.

Фашистов в Новой Горе не было.

— Это от вас обоз ехал?

— Убрались, ироды... — ответил мальчишка постарше.

— А-а... — протянул я.

Возле озера меня ждали Митя и тот самый незнакомый партизан. Я бросился к Мите, прижался. Потом рассказал всё без утайки.

— Ничего, — успокоил меня Митя. — Первый блин комом. А узнал всё, что надо. Молодчина!

Дома ни жива ни мертва ждала меня мать. Грустный Серёга вдруг улыбнулся, протянул мне горсть земляники.

— Не бойсь, у меня ещё есть. Страшно много ягод набрал!

ЗА СОЛЮ

Осенью мы запаслись картошкой и овощами, сжали рожь и намололи муки. В лесу щедро уродились грибы и ягоды. Грибы мы солили и сушили, ягоды засыпали в сухие бочонки. Мы с матерью каждый день ставили сети, рыбы попадало всё больше... Не хватало одного: соли.

Мать решила идти в город, выменять соль на продукты. Серёгу оставили у Тимофеевых. В крепкий мешок мать уложила четыре каравай, банку с брусникой и полстину свинины, что соседи дали нам за ведро плотвы. Сверху, на случай обыска, мать насыпала мелкой картошки. Мне досталось нести корзину с куриными яйцами, уложенными на сухой мох и прикрытыми ниткой грибов.

Дорога была неблизкой, люди считали, что до города сорок вёрст. В путь мать взяла немного хлеба и бутыль молока. Из дома вышли на тёмной заре. Трава была холодной от росы, обжигала мои босые ноги. Шли боровинами по тропам и летникам. На полянах стояла некошенная трава — густая, как молодая рожь. В лесах давно никто не охотничал, звери и птицы совсем не боялись нас с матерью. Близко-близко увидел я рябчика, похожего на молодого краснобрового петуха, без конца взлетали тетерева. Косачей было больше, чем ворон.

Вдруг бешено застучали копыта. Я испугался: немецкая кавалерия. Но вместо всадников увидел лосиное стадо. Лоси промчались мимо нас, взрывая мягкую землю.

Шли мы с матерью медленно: слишком тяжёл был груз.

— Обратно будет легче идти, — утешала меня мама. — Соли много не дадут. — И тотчас вздыхала: — Добыть бы ещё спичек и сахарина.

Долго шли полями. Перед вечером увидели в мареве что-то белое, большое. Я догадался, что это и есть город.

Идти в город на ночь глядя мать не решилась. Свернули к небольшой деревне, попросились на ночлег к одинокой женщине.

— Ночуйте, места не жалко. Только утром уйдите пораньше. Облавы бывают.

Хозяйка накормила нас, уложила в свою кровать, а сама устроилась на лавке. Ночью я несколько раз просыпался от страха: снились какие-то люди с оружием.

Утром мы вышли на широкую песчаную дорогу. Мимо нас промчалась легковая машина, потом пошли танки — зелёные и огромные, как холмы. Резал тишину пронзительный скрежет, вился синеватый дым, покачивались тупые стволы. Из открытого люка высунулся танкист, на голове у него белел бинт.

Большак грохотал, ревел, дребезжал, тонул в рыжей пыли. Пахло гарью, резиной, кремнем. Тяжело шли полугусеничные транспортёры, мелькали легковушки с пропусками на ветровом стекле. Колоннами шла пехота. Пехотинец с карабином в руке, хохоча, запустил в нас камнем, попал матери в лицо.

Второй раз в жизни я видел столько боевой техники и солдат. Не верилось, что такая сила не смогла сокрушить партизан, у которых лишь лёгкое оружие. Но всё-таки не сокрушила. Почему — я ещё не понимал...

Дорогой идти было страшно, мы свернули в лес и вскоре вышли к реке. Через реку была переброшена лава. За лавой были немецкие позиции: я увидел траншеи, окопы и орудия. По противоположному берегу ходили патрульные.

— А зачем тут пушки? — спросил я у матери.

— Партизан, видно, боятся. Вот и пулемёты стоят.

Мы перешли лаву. Мать достала из-за пазухи документы, показала подошедшим солдатам полевой жандармерии. Главный из них, с серой жестяной бляхой на груди, заставил мать развязать мешок, заглянул и в мою корзину. Взяв несколько яиц, весело похлопал меня по плечу.

— Гут, мальтшик! Гут!

За рекой на холмах лежал город. В зелени прятались белые дома под оранжевыми черепичными крышами, поднималась в небо колокольня.

Мы шли мимо разбитых машин и танков, печально напоминающих про сорок первый год. В воронках стояла жёлтая от глины вода. Чернели бесчисленные пожарища.

Вышли к железнодорожной станции. На пробитой снарядом водокачке сидела стая ворон.

Под откосом лежала перевёрнутая платформа. Мать сказала, что поезда не ходят с тех пор, как пришли немцы. Мы поднялись на насыпь, пошли тоненькой тропкой. Насыпь густо заросла травой, в траве смутно виднелись шпалы и поржавевшие рельсы.

Мать замерла вдруг, схватила меня за руку... По рельсам навстречу нам катились красные вагоны.

— Поезд?.. — удивилась мать.

Но вагоны катились сами по себе: паровоза не было. И тут мы увидели бегущих людей. Через плечо у каждого из них была перекинута лямка, блестели туго натянутые тросы. Люди бежали рядом с вагонами, налегая на лямки. Вагоны раскатывались всё сильнее и сильнее... Пёстрая старая одежда, рваная обувь, белые пятна лиц.

— Пленные, наши... — выдохнула мать.

На крышах вагонов лежали автоматчики, с тормозных площадок смотрели стволы пулемётов. Пленные жадно глотали воздух, бежали из последних сил... Двери вагонов были открыты: все они доверху были загружены кирпичом. Состав двигался бесшумно, топот бегущих людей глушила трава, и всё, что я видел, казалось страшным полночным сном.



Пленные чуть замедлили бег. С тормозной площадки тотчас же спрыгнул солдат с палкой в руке. Бил он, не щадя... Кто-то вскрикнул, кто-то схватился руками за разбитую голову.

— Может, и отец твой вот так же мучается... — В глазах у матери был ужас. — Идём, быстрее идём. Здесь должно быть много пленных. На кирпичном заводе работают. Посмотрим, а вдруг кто знакомый? И чего только фашист не придумает. Запрячь человека, будто скотину... Укрылись в городе от партизан. Ничего, партизаны и сюда пробьются!

Найти кирпичный завод оказалось просто: к нему шла железнодорожная ветка, издали было видно высоченную трубу. Бараки стояли тесно, словно стога. За оградой из колючей проволоки темнели вышки с часовыми. Прошли ещё немного, к заводским корпусам. И вдруг увидели, что пленные работают в поле, роют огромную яму, видимо котлован. Рядом, на пригорке, пулемётчики за пулемётами.

Пленные наконец увидели нас. Даже работать перестали. Лицо одного из парней показалось мне знакомым. Как и лицо бородатого мужчины. Но отца — я немного успокоился — среди пленных не было...

С противоположного конца котлована к нам уже бежал конвоир. На измождённых лицах людей, что были рядом, робкой надеждой горели глаза. Мать скинула с плеч мешок, быстро развязала. Все четыре каравая полетели в котлован, пропали в толпе, там же оказалась и полстина.

Я не решился бросать яйца, подбежал к обрыву, лёг, протянул корзину бородатому. Тот замешкался, и яйца, что белые снежки, покатались по сырой глине котлована. Их хватали, прятали в одежду.

Конвойный был уже рядом. Закричал, ударил мать прикладом карабина. Мы побежали. Даже оглянуться не хватало смелости...

В себя мы пришли лишь на берегу реки.

— Вот и сходили за солью, — покачала мать головой. — Да что соль, без неё солоно! Надо было возвращаться домой. Хотелось есть, но торбу с харчами мать тоже успела бросить в страшную яму.

— Ничего, — сказала мама. — В лесу ягод наберём. А идти будет совсем легко.

НОЧНОЙ СЕНОКОС

Целую неделю шли бои. Один за другим в нашу округу врывались карательные отряды. У партизан не хватало патронов, но они не отступали. Люди говорили, что фашисты хотят выжечь всю местность и, зная об этом, партизаны будут держаться до последнего. Даже автоматчики били порой одиночными, а немцы огня не жалели. Горели ометы соломы, подожжённые зажигательными пулями. Над лесом кружили самолёты, стреляли во всё живое.

Деревни казались вымершими. В хлевах мычали недоенные коровы, в лесу осыпались переспелые ягоды, глхла росистая отава.

Наконец каратели отступили. Вечером над озером стоял туман.

— Мама, мама, — заволновался братишка. — Смотри, на озеро облако упало.

Вдруг я услышал знакомый звук, похожий на тектанье дятла. В деревне отбивали косы.

По улице прошли одетые по-покосному Таня Павлова и Нина Андреева. Долетел громкий голос тёти Паши. Как и всегда, она что-то кому-то приказывала, кого-то несердито бранила. У нас снова был колхоз, и тётю Пашу выбрали бригадиром нашей бригады.

Всё было как до войны. На коротком собрании решили как можно больше заготовить сена, стога спрятать в лесу. Иначе нечем кормить скот, деревенских и партизанских коней. Отавы — море. А покосишь ли? Самолёты-разведчики чуть ли не задевают крыши. Снова могут прийти каратели, будет бой... «Нет, — вздохнул я, — какой уж там сенокос!»

Спать я лёг рано, но сон не шёл. Вспомнились вдруг предвоенные дни. Для жителей северных деревень пора сенокоса — праздник. На поле выходят всей бригадой, как бы одной семьёй. Каждый старается не ударить в грязь лицом. Ни вина, ни браги на сенокос не берут, лишь бутылки с молоком, заткнутые пучками соломы. Все нарядны, и у каждого брусочница, сплетённая из берёсты...

Я любил смотреть, как косит наш отец. Коса у него всегда была хорошо отбита, оттянута в жгучее жало. Работал отец быстро и весело, но не спешил, обкашивал кочки и муравейники. Косил, будто песню пел. И никто никогда не мог за ним поспеть, как ни старались.

Среди ночи я проснулся. Захотелось пить. Встал, налил в кружку молока. Матери дома не было, постель её была пуста.

»Косят...» — мелькнула запоздалая догадка.

Под поветью висела лишь одна коса, я взял её, выбежал на луг. В тумане слышались негромкие голоса, вжикали косы. Вброд по метровой траве двинулся к лесу...

Голоса становились всё громче. Вверху стыла подтаявшая луна. С сухим треском взлетела стая серых куропаток. Молодых было вдвое больше обычного. Видно, в одном из выводков погибли родители и птенцов приняли в свою семью соседи. Стая отлетела к озеру, села за кустами.

Вот и покосное поле. Цепью, будто в атаку, шли по ложбине косцы. Вместе с жителями нашей деревни были и партизаны. Они пришли на работу с оружием. Смутно белели девичьи косынки. Пахло цветами и шмелиным мёдом.

Первым по лугу шёл Андрей Павлов, он всего три дня назад стал партизаном, за спиной у него чернел трофейный автомат, на боку висела сумка с патронными магазинами. Чуть отстал от дружка Митя Огурцов, но было похоже, что перегонит: косил отчаянно, шёл напролом.

В середине ряда была мама: в лучшем своём платье, в цветастом старинном платке. Я встал последним — следом за девушками, которые больше смотрели на парней, чем косили.

Таня Павлова вдруг запела тонким пронзительным голосом:

Партизан, партизан
С кумачовой лентой,
Что ты делал, партизан,
В эту ночь летнюю?

Партизаны даже остановились от неожиданности. Андрей и Митя весело переглянулись...
Вдруг в один голос ответили:

А я дома не сидел,
Было много разных дел.
Пущен поезд под откос,
В поле выкошен покос...

И вновь зашипели, зашелестели острые косы. Митя было опередил товарища, но Андрей поднажал и ушёл далеко вперёд. Он и прежде косил на полный мах и отставал лишь от нашего отца...

— А это что за привидение? — слышался голос незнакомого партизана.

Среди валков скошенной травы стоял наш Серёга с кринкой в руках. Видимо, в кринке оставалось немного молока, всё остальное залило рубашку брата. Кто-то весело подхватил кринку, и она тотчас пошла по кругу. Люди делали вид, что молока много, кринка тяжела и все напьются.

— Молодец, постарался! — похвалила Сергея тётя Паша.

Я вскоре устал, присел на кочку. Взрослые работали без усталости. Крупная, как картечь, роса падала наземь вместе с подкошенной травой. Косы не тупились, звенели всё громче. За лесом разгоралась заря.



Андрей был уже возле самого леса. Ярко белели его густые волосы. Будто на ветру, билась праздничная рубаха. Взмах, ещё взмах... Неожиданно полыхнула слепящая вспышка, трава словно бы покачнулась. Столбом поднялась выбитая взрывом земля, наземь дождём посыпались тёмные комья... Стало нестерпимо тихо.

— Назад! Мины! — не своим голосом закричал Митя.

Андрей лежал на земле, волосы его смешались с травой. Когда все отошли, Митя и ещё один партизан осторожно подошли к товарищу, взяли его на руки, отнесли в сторону, уложили на плащ-палатку.

— Беги за конём, — приказала мать Андрея Саше Тимофееву. И, закрыв лицо ладонями, заплакала: — Сынок мой, горяшко моё...

Кто-то достал индивидуальный пакет, принялся бинтовать раненому ноги. Сапоги и штаны разрезали ножом.

— Не бойся, выживешь... — утешал Митя Андрея. — До свадьбы заживёт. И ноги целыми будут.

Подъехала подвода. В неё уложили ворох скошенной травы, на нём устроили Андрея. Девушки отошли к озеру, было видно, что и они плачут. Один из партизан вывинтил из винтовки шомпол, принялся им, будто щупом, колоть мягкую землю. Люди отошли к самой деревне, со страхом смотрели на парня.

— Не бойтесь, — успокоил всех Митя. — Это наш сапёр. Ни одной мины не пропустит. Партизан тем временем встал на колени, повозился и вынес на дорогу противопехотную мину — небольшую зелёную банку. Пришли ещё два сапёра, принялись помогать товарищу...

Мин оказалось немного, их все нашли. Вечером в деревне вновь застучали молотки. Митя отбил косы в своём доме, потом пришёл к нам, наладил и наши «литовки». Едва стемнело, люди вновь вышли на заливные луга. Шли неторопливо, с осторожностью, словно по первому, ненадёжному льду.

ГОРЯЧИЕ ГИЛЬЗЫ

Пришла вторая военная зима. Люди ждали её со страхом, думая, что партизаны, как только выпадет снег, отойдут в глухие леса. Но партизаны и не думали уходить из наших мест...

Рано утром возле нашего дома остановились сани, в них стоял пулемёт «максим», сидели шестеро партизан. Старший вошёл в дом, сказал, что у нас будет стоять заслон. Пулемёт поставили в сенях, коня с санями поместили в сарай. Один из приехавших тотчас встал на пост, затаился возле дороги под елью. Кроме одного, все бойцы были молодые. Когда мать стала угощать их молоком, партизаны обрадовались, пили молоко не спеша, в строгом молчании.

— Как же вы нас заслонять будете? — спросила мать у командира. — Долго вшестером не навоюешься...

— Ничего... — улыбнулся партизан. — Рядом большие силы. Если что — помогут. И дозоры вокруг — ворона не пролетит незамеченной.

Не успели партизаны разместиться, как прискакал на коне разведчик. Выслушав его, командир что-то сказал часовому и, придерживая рукой колодку маузера, бегом бросился к крыльцу. Я понял, что немцы где-то поблизости. Так и оказалось...

— Всем в лес, — коротко приказал командир.

Бои шли так часто, что мы с матерью и Серёгой ходили по дому и спали одетыми. На сборы хватало двух минут; мать перекинула через плечо узел с едой и вещами, подала свободную руку братишке.

Коня вновь вывели из сарая, поставили в сани пулемёт. Мы сели рядом с партизанами, и сани помчались к лесу. Часовой по-прежнему стоял под елью, не сел в сани и командир — побежал к соседним домам предупредить людей об опасности.

Когда сани вылетели на опушку, я оглянулся. К лесу бежали люди, несли на руках детей, тащили тяжёлые узлы.

Среди елей стояла глинобитная пекарня. С тех пор как пришли фашисты, пекарня не работала. По весне в ней разместился партизанский лазарет, а потом стали прятаться люди, как только рядом бой. Стены у пекарни были метровые, за ними было не страшно. Окна, чтобы не влетела граната, были забиты тесинами. Партизаны высадили нас на краю леса, и мы бросились к пекарне. Там ещё никого не было, и мы с Серёгой устроились за огромной печью. Вскоре появились Андреевы, и рядом с нами сел Саша — верхом на огромный сноп соломы. Нашлось место и Саше Тимофееву. В тесноте не в обиде. Тут же оказались и девочки — Катя и Зина. Чуть в стороне — женщины.

Бой, как всегда, начался неожиданно. Затрещали автоматы, и, заглушив их, взревели пулемёты. Совсем близко, на опушке, бил «максим». Люди от страха легли на солому. Серёга прижался ко мне, я чувствовал, как у него бьётся сердце. Несколько пуль ударило в стену пекарни, и стало ещё страшнее... Лежали молча, молчали даже маленькие дети. Стрелять вскоре перестали, но никто не решался поднять головы. И вдруг стало слышно, как где-то рядом стонет раненый. Женщины метнулись к выходу, я бросился за ними следом. В пекарне было полутемно, в лесу меня ослепил снег — даже на мгновение пришлось зажмурить глаза...

Раненый партизан лежал рядом со стеной пекарни. Совсем молодой, не старше нашего Мити. В глазах — боль, в лице — ни кровинки. Бился на ветру размотанный бинт, весь в багряных пятнах. Партизан хотел что-то сказать, но не смог: из горла вырвался хрип. Мать и ещё кто-то из женщин подхватили раненого на руки, понесли в наше убежище. Боясь, что меня увидят и заставят вернуться на место, я шагнул в сторону, юркнул за ёлки. Снег между деревьев был истолчён, перепахан сапогами и валенками. Я поднял несколько гильз; одна из них была от ракетницы — лёгкая, белая, с ярко-зелёной поперечной полосой. И тут я увидел жестяную коробку с выдавленной звёздочкой на боку. В таких коробках, я знал, носят пулемётные ленты. Пулемёт — главное оружие у партизан. А вдруг им не хватит патронов? Тогда конец — одолеют фашисты: убьют всех, кто был в заслоне, сожгут нашу деревню. А может, и не только нашу... Коробку надо было отдать партизанам. Они где-то близко. «Увижу — закричу, кто-нибудь прибежит, возьмёт», — пронеслось в голове.



Едва я сделал несколько шагов, как вновь ударили автоматы и пулемёты. Гудя, будто провода, над моей головой прошли пули. Упал, решив, что целят в меня, пополз по снегу. Стало так жутко, что закричал. Но меня никто не услышал. Партизан нигде не было видно. Пополз быстрее. Снег набивался за пазуху, в валенки, холодил лицо. Бой разгорался, с немецкой стороны били, самое малое, три пулемёта. Пули со змеиным шипением секли хвою, резко щёлкали по еловой коре. Кувыркаясь, летели щепки. Замер, вжался в снег от испуга: стукнет такой вот щепкой, мне и хватит.

И тут я увидел в снегу канаву; понял: партизаны тащили волоком «максим». Хоть какое, а укрытие. Я мигом оказался в нём, пополз, толкая перед собой тяжёлую коробку с лентой. Полз, боясь поднять голову. Я умел плавать и знал, что с воды не надо смотреть на другой берег: покажется, что он далеко-далеко. Испугаешься, захлебнёшься...

Коробка уткнулась во что-то твёрдое. Решив, что это кочка, я нажал посильнее. Но сдвинуть коробку не смог. Поднял на мгновение голову и прямо перед собой увидел белые валенки в оранжевых галошах из автомобильной камеры. Партизан лежал за пулемётом, выкрашенным в белую краску, и стрелял. Очередь вдруг оборвалась.

— Куда? Назад! — закричал партизан не своим голосом.

Выпустив коробку, я попятился назад, пополз быстрее, чем вперёд. Краем глаза увидел метровый комель старой ели, спрятался за него, затаился.

Партизаны лежали на опушке леса, фашисты были совсем рядом, под берегом озера. От берега до леса было метров сто, не более. На снегу лежали убитые — все в белом, даже каски — белого цвета. Из сугроба торчала миномётная труба, похожая на самоварную... Кончилась лента, и «максим» замолчал. Партизан открыл приёмник пулемёта, взял «мою» коробку, поставил торцом, ловко открыл крышку — я всё это хорошо видел из-за ели, — поставил новую, полную патронов ленту.

Каратели, видимо, решили, что пулемёт не заряжен, кончились все патроны. Крича, из-под берега выскочили похожие на снеговиков солдаты, бросились к лесу. Крики и треск автоматов слились в один жуткий рёв. От ужаса я уткнулся головой в снег.

Та-та-та-та! — бешено ударил «максим».

Когда я поднял голову, фашистов на поле не было. Убитых прибавилось, один лежал совсем недалеко от пулемётчика.

И тут я увидел мать, бегущую между деревьев. Стало страшно, как не бывало никогда: выбежит к опушке — убьют в ту же минуту.

— Мама!.. — вскрикнул я слабым голосом.

— А-а-а!!! — словно бы эхо, раскатилось по лесу.

На опушке были партизаны, наверное весь отряд. Подоспела подмога. «Ура» кричали справа и слева. Фашисты бежали к противоположному берегу, отстреливаясь на ходу. «Максим» замолчал: кончились патроны. Я знал, что одной ленты хватает лишь на минуту бесперывной стрельбы.

Вскоре бой откатился за озеро. Мать хотела меня увести, но я вырвался, бросился к пулемётчику. Это был молодой парень, похожий на нашего Митю. Даже голос у него оказался Митин.

Рядом с пулемётом дымилась россыпь стреляных гильз. Нижние, шипя, втаивали в снег, верхние ещё дышали жаром. Я взял пригоршню гильз, стал отогревать заледенелые руки.

— Иди к пулемёту греться, — весело позвал партизан.

«Максим» и вправду был горячим; в кожухе, налитом водой, булькало, как в самоваре. Я сел на пулемёт, быстро согрелся.

Возле пекарни стояли люди. Зина Тимофеева смотрела на меня так, как будто я совершил что-то невероятное. В глазах мальчишек горела зависть. В деревню возвращались вместе с партизанами из заслона. В сани уложили раненых, их оказалось двое. Один был тяжело ранен, глухо стонал.

Похожий на Митю партизан тащил пулемёт. Я нёс пустые патронные коробки. Увидел на снегу немецкую гранату — серую, с голубым колпачком, величиной с гусиное яйцо, — поднял, положил за пазуху. Шёл не спеша, гордо. Мне даже показалось, что я стал выше ростом.

Я УЧУСЬ!

Партизаны отбросили карателей так лихо, что те не успели сжечь нашу деревню и увести скот. Но ограбить успели, увезли всё, что смогли. Ужинать нам пришлось без хлеба. Долго пили густое парное молоко.

— Хорошо, что картошку не увезли, — несколько раз повторила мать...

Наутро мать ушла по делам, а мы с Серёгой лежали на печи. Там было тепло, пахло сушёными травами, летом. То ко мне, то к брату, ласкаясь, подходил кот Василий, который весь бой просидел в подвале, видимо промёрз. Кот довольно урчал.

Я тоже чувствовал себя радостно, подумывая даже о том, что мне дадут медаль. Правда, я в этом был не очень уверен: Митя Огурцов вон какой храбрый, а без медали. Не надо никакой награды, решил я, пусть лучше дадут подсумок с патронами и карабин. Стрелять я умею, три раза стрелял из малокалиберки. Мать нашьёт мне на шапку красную ленту: выкроит из своей косынки, что спрятала в комод. Фашисты огромные, неповоротливые от зимней одежды, попадать в них легко, а я маленький, быстрый — попробуй поймай на мушку! Прицельсь, хлоп — и готово. Весь в медалях буду. Приеду, пройду по деревне с наградами и карабином, мальчишки лопнут от зависти. И Зина Тимофеева посмотрит... В сенях загрохотало, с шумом открылась дверь. На пороге стоял партизан — весь в снегу, в индеви.

— Такой-то? — спросил партизан строгим голосом.

— Такой-то, — поспешно ответил я.

— В штаб! К командиру! Мигом!

От счастья голова кругом пошла. Вот оно, вызывают... Прыгнул с печки, попал в валенки, схватил шапку и полушубок.

— А меня? — захныкал братишка.

— Про тебя ничего не сказано. Сиди дома!

— Да-а-а? — обиделся Серёга и тоже бросился за одеждой.

На улице он никак не мог догнать меня, рассердился ещё сильнее:

— Стой! Стрелять буду!

Партизан не сказал, где находится штаб, но возле дома Тимофеевых стоял часовой с автоматом, и я догадался: командир — там.

Часовой пропустил меня и Серёгу. Мало того, улыбнулся, как самым хорошим знакомым.

В штабе оказалось тесно и шумно: собрались все деревенские ребята. Мне это не понравилось. Если начнут давать медали и карабины, мне может ничего не достаться — прибежал последним. Работая локтями, пробился к столу, к самому командиру. Он оказался не старым. Лицо обветренное, покрытое зимним загаром, на плечах — кожанка, на боку — маузер в деревянной колодке. Можно стрелять с руки, а можно привинтить маузер к колодке, получится штурмовой карабин.

Командир встал, поправил чёрную португую. Синие его глаза остановились вдруг на мне.

— Ну, что, орёл, не надоело ворон гонять по деревне?

— Надоело... — ответил я машинально.

— Вот и хорошо! Завтра вместе со всеми пойдёшь в школу.

Мы оторопели. Рядом фашисты, идут бои, горят деревни — какие уж тут занятия!

— Школа-то сгорела, — негромко сказал Саша Андреев. — Когда горбовскую комендатуру разбивали...

— Сам был в том бою, — улыбнулся командир. — Знаю. Что ж, будете учиться в пекарне. Хлеб в ней пока что не пекут.

— И учителя нет, — решил не сдаваться Саша.

— Как так нет? А ну, оглянитесь!

Все разом повернулись. У порога стоял партизан в кубанке и шубе до пят. Ярko сверкали очки в золотой оправе. На ремне — парабеллум, правая рука — на косынке из парашютного шёлка.

— Меня зовут Иван Матвеевич, — сказал наш будущий учитель.

— А когда поправится рука, тоже нас учить будете? — бойко спросила Зина.

— Если прикажет командир — буду.

Домой я словно на крыльях летел. Серёга уныло плёлся сзади: в школу его не взяли, сказали, что надо подрасти. Но вскоре и моя радость погасла. Я стал собираться в школу, но не нашёл ничего, кроме сломанной ручки — Серёгина «работа» — и пера № 86. Я чуть не плакал. В дом как раз зашли двое партизан из заслона. Им стало жалко меня, и один вынул из брезентовой сумки гранаты, протянул её мне.

— Бери, сумка крепкая. С ней и пойдёшь на уроки.

— С пустой? — Не выдержав, я всё же заплакал.

Партизаны смутились, завалили меня подарками. У меня оказалось сразу два карандаша: сине-красный и простой с наконечником из гильзы от маузера. Следом явилась на свет из вещевого мешка трофейная книга в кожаном переплёте.

— Это — вместо тетради. Ты по-немецки ни бум-бум, а смотри какое расстояние между строчками — можно писать. Крупными буквами. И поля широкие — решай себе примеры столбиком!

— Ручка вот плохая, не пишет...

Партизаны осмотрели ручку, попросили у матери плоскогубцы. Вынув сломанный стержень, заменили его целым, выстроганным из лучины. Со счётными палочками помог Серёга: сопя, притащил полную шапку гильз — единственное своё богатство.

Сложив подарки в сумку, я повесил её на гвоздь около окна.

Вечером я раньше обычного забрался на печь, но уснуть долго не мог. Вспомнил прежнюю школу — в Горбове. Я несколько раз приходил на хутор, ждал под окнами школы, когда прозвенит звонок. Мальчишки на переменах вместе со мной убегали на озеро, ловили на отмели раков. Добычу мои дружки прятали в партах. На уроке было слышно, как раки шелестят клешнями...

Если бы не мать, я бы проспал, опоздал в школу.

— Скорей вставай, — тормошила меня мама. — Ворона под окно прилетела, кричала всё: «Пора! Пора!»

Прыгнув с печи в валенки, я схватил сумку, надел через плечо, стащил с вешалки полушубок, затолкал руки в рукава.

За столом сидели незнакомые партизаны. Они дружно засмеялись. Я сбросил полушубок и сумку, вновь оделся и надел сумку на себя.

— Герой, а завтракать кто будет? — Партизаны продолжали смеяться...

На столе стоял горшок с кашей, вился беловатый пар. И мы, и партизаны жили впроголодь. От недоедания у меня часто болела голова. А каша была настоящая, гречневая, сдобренная льняным маслом. Что же теперь делать? Стану завтракать — опоздаю. Не позавтракаю — целый день буду голодным. Ещё раз глянул на горшок и хлебницу, полную толстых ломтей хлеба. Схватил ковшик, нашёл маленький горшок, наложил в него каши, сунул горшочек и ложку в сумку, туда же затолкал увесистую горбушку. Ни хлеба, ни круп, ни масла у нас не было. Значит, партизаны привезли, а мать приготовила.

— Спасибо! — сказал я партизанам и матери одновременно.

В поле было морозно. Над лесом стыло малиновое солнце. С ёлки на ёлку перелетали рябчики. Со всех сторон к пекарне тянулись тропинки. На снегу, казалось, кто-то нарисовал ветвистое дерево.

Вбежал в пекарню, обрадовался: успел! В помещении было жарко, огромная печь дышала июльским зноем. Парт не было — столы, на которых прежде лепили калачи и укладывали в формы тесто. К стене был прибит лист чёрной жести. Я понял, что это — классная доска. На одном из столов лежал бубенец, похожий на жёлтую кувшинку. В деревне такие бубенцы называли гремками.

— Садись со мной, — предложил Саша Андреев. — Вот тут, к окну поближе.

В сборе были все ребята из нашей деревни, из Горбова, Усадина и Носовой Горы. Ко мне подбежал мальчишка, он был в трофейном френче с подвёрнутыми рукавами, на поясе — маленькая жёлтая кобура.

— Настоящий? — спросил я у новенького.

— Там не пистолет, — смутился мальчишка. — Цветные карандаши... Хочешь со мною дружить? Меня зовут Колей.

— С партизанами приехал? — спросил я и назвал.

— С партизанами. Просился в разведку, а меня — сюда. Обидно!

Зазвенел гремок — чисто, заливисто. Вошёл учитель Иван Матвеевич — с портфелем в левой руке. Все встали, поздоровались. Учитель положил портфель на стол, освободившейся рукой снял шапку. Потом сел за стол, раскрыл классный журнал. Всё было как в настоящей школе.

— А сейчас приготовим чернила!

Прищурясь лукаво, партизан достал из кармана два алюминиевых патрона с сигнальными ракетами. На патронах были цветные полосы: на одном красная, на другом зелёная.

— А ну, помогите их открыть!

Специалистов по открыванию патронов оказалось с избытком. Но всех опередил Саша Тимофеев. Вооружась кривым гвоздём, он мгновенно выковырял пыжи, высыпал порох и шашки с горючим составом. Шашки размяли, порошок засыпали в две бутылки, принесённые учителем. По просьбе Ивана Матвеевича достали из печи котелок с горячей водой. Налили воду в бутылки. Свершилось чудо: мы получили чернила. Красные — из

красной ракеты, зелёные — из зелёной. Чернила разлили по разнокалиберным пузырькам. Я взял себе красные.

У моего соседа чернила были зелёные. Саша достал лист бумаги, стал рисовать. Быстро изобразил холмы и еловый лес.

— Похоже? — Взглянул на меня искоса, подумал и нарисовал зелёную корову.

— Вот теперь похоже, — сказал я, доставая отремонтированную ручку.

Рисовать захотелось и мне. Учитель был занят: что-то писал в журнале, не стоило терять свободную минуту. Открыл сумку, достал трофейную книгу. На плотной лощёной бумаге чернели угловатые немецкие буквы, под матовой калькой прятались красочные картинки. На них были изображены древнегерманские воины в полном вооружении. Один из рыцарей, в панцире, в шлеме с коровьими рогами, сжимал тяжёлый двуручный меч. Я обмакнул перо в пузырёк, подрисовал воину усы. Чернила растеклись в кляксу.

Получилось, будто рыцарю расквасили нос...

Жизнь словно бы вернулась назад. Засыпая, я вспомнил про школу, порадовался, что утром снова зазвенит гремок, я сяду рядом с Сашей Андреевым и стану вычерчивать палочки и похожие на рыболовные крючки закорючки.

И вот снова утро, снова — занятия. Кто-то принёс с собой зайчонка-белячка величиной с рукавицу. Зайчонок был белый, как утренняя пороша, лишь кончики ушей — чёрные, будто обгорели на пожаре. Косой шнырял между столов и никого не боялся. Испугался лишь звонка, нырнул в подпечье...

После уроков всей оравой отправились помогать взрослым. На краю деревни топились овин, сохли мокрые снопы овса. Посреди овина был расстелен брезент, на него клали подсохшие снопы, били цепами. Мать взяла с собой Серёгу, он суетился и всем мешал. Овёс косили во время дождей. Потом начались бои, стало не до молотьбы. И вот мы словно бы вернулись в осень. Я взял цеп, дал другой, поменьше, братишке, развернул сноп.

— Бей фашистов! — крикнул я весело, и мы принялись колотить по снопу.

Над брезентом вилась полова. Подошла мать, глаза у неё были весёлые.

...Школа работала без выходных. В воскресенье был урок рисования. Я рисовал воздушный бой. И вдруг, громко гудя, над лесом пронёсся самолёт...

Все бросились к выходу, забежали в лес. Самолёт развернулся и вновь навис над пекарней. Сквозь бронестекло было видно лицо и шлем лётчика. На широких крыльях чернели кресты, обведённые жёлтым. Как длинный острый клюв, торчал ствол пулемёта. Из ствола брызнуло белое пламя. Посыпались вниз тёмные бомбы.

— Ложись! — закричал учитель, и все мы рухнули в снег.

Загрохотало, ударило горячим ветром, ослепило огнём...

Когда самолёт улетел, мы подошли к пекарне. Снег был изрыт воронками, возле крыльца лежала поваленная взрывом огромная ель.

К Ивану Матвеевичу подошёл Саша Тимофеев, спросил:

— А уроки теперь будут?

— Будут, — ответил учитель.

— Значит, завтра можно приходить?

— И послезавтра, — сказал Иван Матвеевич без улыбки.

Вскоре мы, первоклассники, научились писать, а в старшей группе все до одного изучили устройство автомата ППШ. Неожиданно учитель сказал, что будет общий урок, и дал каждому из нас по листу чистой бумаги. Это было чудом! Мы писали на чём попало: на книгах, на кусках обоев, на картоне и берёзовой коре.

— Будем писать диктант.

И учитель начал медленно диктовать:

— Фашистские войска окружены под Сталинградом. Наша Армия наступает. День освобождения близок. Товарищи, всячески вредите оккупантам! Бейте ненавистного врага! Все — на защиту Родины!

Я писал красными чернилами. Буква «Р» в слове Родина развевалась, как знамя. Учитель на наших глазах проверил, как кто написал, аккуратно исправил ошибки. Вошёл партизанский командир, мы радостно встали.

— Готово? — спросил гость весёлым голосом.

— Готово! — ответили мы хором.

Партизан взял наши диктанты, бережно положил в полевую сумку. Мы поняли, что не только учимся, но и немного воюем.

ВАСИЛИЙ ИЗ ПЕРЕТЁСА

Три дня занятий не было: с утра до вечера над холмами кружили немецкие самолёты. Любого, кто шёл или ехал по дороге, пилоты считали партизаном. Пожилая женщина везла в город больную мать. С самолёта расстреляли обеих женщин и коня. В Носовой Горе взрывом бомбы сдвинуло с места дом. Люди чудом уцелели...

Среди бела дня партизаны не решались показываться в лесу и в поле. В нашем доме до глубокого вечера просидели пятеро бойцов. Вместе со всеми был Василий из деревни Перетёс.

В округе его считали богатырём. Люди рассказывали, что он на спор остановил мельничное колесо. Противотанковое ружьё в руках Василия казалось лёгонькой одностволкой.

Партизаны разговаривали, курили...

Натужно гудя, самолёт кружил над деревней, чуть ли не задевал колёсами крыши.

— Вась, а Вась, — сказал один из партизан. — Иди, сбей эту тарахтелку!

— А если промахнусь? — нахмурился партизан. — Немец всю деревню сожжёт.

— Стрелять не надо, — весело продолжал парень. — Дай разок ружьём по хвосту, ему и крышка.

Разведчик улетел, но он мог вернуться в любую минуту. Шутливый партизан устроился с Василием, прищурясь спросил:

— Вася, а как это ты от полицейских убежал, связанный ведь был? Верёвки развязались, что ли?

— Да-а, развяжутся... И не верёвки были, гужи ремённые. Раненый был, а то не дался бы. А дружка Петра с ног сбили. Ростом-то он — с валенок. Разбили так, что идти не мог, волокли. Заперли потом нас в сарай, поставили часового. А сами пошли коня искать, чтобы нас в комендатуру везти. К коменданту.

— Да, поговорили бы с тобой, шомполами...

— Поднатужился я, гужи и треснули. Снял слегу, сунул конец в оконце, и — раз! — стена на целый аршин раздвинулась. Закрепил вагу, взял Петра под руку, пролез в разъём и — в лес родной!

— А часовой куда смотрел?

— Замок охранял, ясное дело!

— Вася, говорят, ты и в Ленинград ходил с обозом? Когда продукты везли.

— Ходил. Медаль мне за это вышла. Как какой конь застрянет — меня зовут. Сниму шубу — и за дело!

Я ещё раз взглянул на Василия. Шуба была ему по колена, как полушубок, валенки такие, что в любом уместился бы наш Серёга.

— И откуда ты такой взялся? — улыбнулся молодой партизан.

— В округе крупного народа от века много. Крепость в древности была, вот и брали кто покрепчее.

Когда стало темнеть, партизаны ушли.

На другой день вновь начались уроки. После уроков я убежал с мальчишками на озеро, где партизаны ловили неводом рыбу. Невод был тяжёлый, но верёвку вместе со всеми тащил Василий из Перетёса, и всё шло как по маслу. И вдруг — остановка. Лица партизан стали хмурыми, кто-то коротко помянул нечистую силу.

— Зацеп, — вздохнул старший из партизан. — Похоже, за камни...

— Зацеп так зацеп, — усмехнулся Василий.

Не раздумывая, он сбросил шубу, снял шапку, валенки и одежду, босиком подошёл к проруби, опустил в воду, нырнул.

Пока Василий не вынырнул, никто не проронил ни слова.

— Всё, можно тащить. — Василий тряхнул мокрой головой, рывком выбрался на лёд, мигом оделся.

— Теперь бы мёду, чаю горячего!

Василия увели в деревню, а партизаны вновь взялись за верёвку. Вода закипела, и на лёд легла мотня невода, полная рыбы. Алели брусничные плавники краснопёрок, на глазах светлели лини, билось живое серебро плотвы, изгибались в кольцо щуки и окуни.

Рыбу укладывали в мешки, в ивовые корзины.

— Всем хватит, — сказал командир. — И нам, и населению.

Пожилой партизан с тревогой посматривал на небо.

— Как бы тарахтелка не прилетела...

— Не прилетит, — успокоил его молоденький боец. — Вчера наши из пулемёта били.

Подбили вроде бы, сразу за лес потянул.

— Отремонтируют, — вздохнул пожилой партизан.

И в ту же минуту послышался отрывистый стрекот. Он становился всё громче, и над деревней пронёсся самолёт, похожий на огромную зелёную стрекозу. Зло стрекоча, самолёт повернул в сторону озера.

Люди бросились врассыпную, партизаны залегли, вскинули карабины и автоматы. Сухо затрещало — с самолёта бил пулемёт.

Я лежал в снегу возле береговых кустов, от страха пополз под кручу. И тут я увидел Василия. Он стоял на коленях возле изгороди, целился с упора в самолёт. Чёрное противотанковое ружьё гулко ухнуло, и вдруг стало тихо: мотор самолёта замолчал. В ярости лётчик дал длинную очередь, показал сквозь стекло Василию тугой кожаный кулак.



Василий вновь прицелился, и из самолёта повалил густой бурый дым. Дымя, аэроплан пронёсся над лесом, врезался в заваленный снегом холм. Ослепительно сверкнуло, поднялась целая туча дыма.

— Самолёт сбили! Самолёт сбили! — По озеру бежал Саша Андреев, от радости размахивал руками...

Потом я с мальчишками был на том месте, где упал самолёт. На скате холма лежали обломки самолёта, разбитый мотор, искорёженный пропеллер. Я набрал полные карманы болтов и немецких патронов.

— Подумаешь, — сказал Серёга, когда я выложил на стол принесённое.

И достал из-за пазухи две золотистые гильзы от противотанкового ружья. От того самого, из которого стрелял Василий.

КЛАД

Всё хуже становилось с едой. Хлеба у нас почти не было, картошку мать берегла для посадки. Не слаще жилось и нашим соседям.

На озере с утра до вечера морозились рыболовы. За крючок любой из них мог отдать котелок плотвы. Ловили поближе к береговым зарослям: а вдруг прилетит немецкий самолёт?

Мальчишки ставили силки на серых куропаток, собирали в лесу мёрзлую рябину для пирогов. И мы с матерью делали всё, чтобы как-то спастись от голода. Решили ловить зайцев, которые целую зиму хозяйничали в нашем саду. Косые не пощадили ни яблоньки. Мать вырыла в сугробе яму, положила над ней крест-накрест три хворостинки, закрыла их соломой и засыпала снегом. Для приманки положила морковку.

Чуть свет спешили мы к западне. Сердце замирало от волнения, но морковка каждый раз оказывалась нетронутой. Ночным воришкам хватало яблоневого коры.

О том, что в ловушке кто-то есть, ликуя, сообщил нам с матерью Серёга. Втроём мы бросились в сад, и мама достала из ямы дрожащего от ужаса зайчонка-белячка. Точно такого, как тот, которого приносили в школу. Серёга взял зайчишку на руки, крепко прижал к себе:

— Никому не отдам. Нельзя его убивать!

Зайчонок вдруг встрепенулся, вырвался из рук братишки. И в лес — прямым ходом.

— Убежало наше жаркое... — сказала мать с грустной улыбкой.

Серёга затосковал, гулять больше не захотел, поплёлся домой.

В тот день мать куда-то ушла и долго не возвращалась. Мы с братишкой решили поставить самовар. Лучины долго не разгорались. Пришлось надеть на самовар старый сапог. Получилось похоже на кузнечные мехи. Я нажал рукой на подошву, и в самоваре загудело...

Кипяток заварили сушёным брусничным листом, достали из сундука ржаной сухарь, луковицу и холстинку с солью. Соль была грубого помола. Луковицу разрезали на две части, сухарь размочили, разломали пополам. Солёный чай пили не спеша, закусывая то сухарём, то луком.

— Чаёвничаете?

На пороге стояла мать. Под мышкой у неё был скатанный брезентовый мешок, в правой руке — плотницкий отцовский топор. Рядом с матерью стояла тётя Паша Андреева. Она была в мужском тулупе и огромных валенках. Через плечо переброшена двуручная пила.

— Мам, ты куда? — встрепенулся Серёга.

— В лес идём. Клад искать!

Я верил в клады. Давно, ещё совсем маленьким, я слышал от бабушки, что если увидишь белый камень, а на нём выбита подкова, то знай, рядом закопано золото. В земле много добра лежит. Когда идёт война, люди прячут от врагов всё, что могут.

— Пойдёшь с нами? — Мать коротко взглянула на меня.

Мы с Серёгой быстро оделись. Брата тётя Паша отвела к Огурцовым. Мать выкатила из сарая салазки.

Лес весь в снегу, в индеви показался мне сказочным дворцом. С берёзы на берёзу перелетали тетерева; чёрные крылья отливали на солнце то красным, то зелёным.

Идти становилось всё труднее. Мать пробивалась первой, тащила салазки. Шли долго, я устал. Немного передохнули, присев на кучу грачевника. Потом вышли к ручью с крепким слоистым льдом. Мать прибавила шагу, мы с тётей Пашей едва за ней поспевали. Ручей вывел нас к болотине. Я чуть не вывернул ноги среди горелых пней, кочек и коряг. Вспугнули стаю белых куропаток...

За болотом лежал густой лес. Стали попадаться волчьи следы. Открылась небольшая округлая поляна с тёмной елью на середине.

— Вот и пришли... — Мать остановилась, огляделась.

— А где то дерево? — спросила тётя Паша.

— Смотрите зорче. Увидите дымок — зовите меня.

Двинулись краем поляны. Я смотрел во все глаза, задираю голову. Снег... Иней... Ветки, перекрученные, как проволока... Еловая хвоя. Глаза устали, и хвоя заклубилась, будто дым.

— Нашла! Нашла! — закричала мать неожиданно.

Смеясь, она показывала на старую серо-зелёную осину с сухой маковкой, исколотой клювом дятла. Из небольшого дупла выбивался пар, и ветки вокруг были окованы мутной ледяной коркой.

Мать подбежала к осине, принялась утаптывать снег. Казалось, она пляшет от радости. Подтащила салазки, принесла мешок, пилу и топор.



Потом мне велели отойти в сторону, и женщины стали пилить осину. Пила зашипела, снег вокруг корня осины сделался от опилок жёлтым. Потом мать положила пилу на салазки, взяла топор, вырубил жердь. Позвали меня, втроём налегли на жердь. Осина заскрипела, покачнулась и вдруг начала стремительно падать. Глухо ухнуло, поднялось облако снежной пыли...

Я подбежал к упавшему дереву. Сквозь треснувшую кору валил пар. Мать топором раскроила заболонь; ослепило что-то похожее на золото. С трудом я понял, что это мёд. Дикie пчёлы слабо шевелили крыльями, сбившись в тяжёлый живой шар.

— Часть мёда надо оставить, — сказала тётя Паша. — А то пчёлы погибнут.

Обратный путь показался нам коротким и лёгким, хотя уже стемнело и салазки с грузом вязли в снежных заносах. Нестерпимо хотелось есть, но я не решился попросить даже кусочек мёда. А у нас был его полный мешок. Даже я, маленький мальчик, понимал, что мёд в войну дороже золота и мы нашли настоящий клад.

Мёд привезли в деревню, и радостная новость мгновенно облетела дома. Каждому хотелось увидеть чудо своими глазами. Все, кто мог ходить, собрались в нашем доме. От медового духа у нашего Серёги закружилась голова, он чуть не плакал. Тогда всем маленьким дали по ложке мёда и стали делить клад по семьям. Каждому взрослому — один пай, детям — по два пая, а кто болен — и три. Половину мёда решили отдать партизанам — для раненых. Обиженных не было, люди шумели, будто на празднике. Когда гости ушли, мать поставила самовар. Потом сели пить чай. Братишка завладел самой большой кружкой. Сначала он выпил заваренный брусничкой кипяток, потом расправился с куском сухаря и лишь после того принялся за мёд.

— Мам, а откуда ты про этих пчёл узнала?

— Вспомнила, сынок. Летом на той поляне мы с нашим отцом сено сушили. А весной за грибами ходили, за вешними... В мае там черёмухи цветут. Стоят белые-белые... А пчёлы так к ним и летят. Будто провода натянуты золотые.

— Хорошо, что вспомнила! — рассудил Серёга.

ТИГРОВАЯ КОШКА

Несколько недель боёв не было. И вдруг мать пришла домой тревожная:

— Каратели рядом. Сняли с фронта целую дивизию, эсэсовскую.

— А кто это эсэсовцы? — спросил Серёга.

Мать ответила:

— Отборные солдаты, самые головорезы. И оружие у них получше. Хотят разбить весь наш край.

Занятия в школе прекратились. Иван Матвеевич торопился в штаб, велел всем идти по домам. Эта новость напугала даже братишку. В страхе он забрался на печь.

...Ночью началась метель. Мело так, что дом качался, как плот на речном перекате. К утру метель стихла, мы уснули. Очнулся я от резкого треска. Бросился к окну. По полю бежали лыжники с чёрными автоматами. Возле озера промчались аэросани. Я понял: пришли фашисты.

Бой откатился за холмы; мать растопила печь, приготовила завтрак. Вдруг в сенях громко затопали. Не стучась, вошла Матрёна Огурцова, вместе с ней были и её дети: Маша, моя ровесница, и трёхлетний Егор с кошкой на руках. Кошка была редкой тигровой масти. Егор гладил свою любимицу, но та недовольно вертела хвостом.

— Спрячьте, люди добрые! — Матрёна была сама не своя. — Ищут раненых партизан, — расстреливают тех, кто прячет. И партизанские семьи ищут...

— Оставайтесь у нас, — сказала мать. — Если что — ты моя сестра, живём вместе. Дом на замок закрыла?

— Закрыла. И окна забила тесинами.

— Вот и хорошо. Скажем, никто в доме не живёт, уехали бог весть куда.

— Что же теперь будет-то? Людей убивают, деревни жгут... Ироды.

— Идут! — вскрикнула мать.

По улице шумно двигались солдаты в длиннополых шинелях. На касках и петлицах солдат были белые молнии. Двое фашистов быстро поднялись на крыльцо, вошли в дом.

— Все одевайтесь! Выходить на улица!

В сугробе вязли испуганные люди, мёрзли на ледяном ветру. Вскоре собрались все жители деревни. Женщины плакали. Дед Иван Фигурёнок ругался в бороду. Мы с матерью встали с краю, ближе к нашему дому. Серёга спрятался за мою спину. За нами схоронились Огурцовы.

Фашисты стояли на дороге. Ветер трепал длинные шинели, холодил лица карателей, и они отворачивались от ветра, наставив на людей оружие. Пришли офицер, переводчик и полицейский в русском полушубке, подошли к окоченевшим людям.

— Куда девались жители этого дома? — спросил полицейский, показав в сторону огурцовского дома.

— Ушли с партизанами, — отозвалась наша мать.

— Коварить правду! — заорал вдруг офицер, багровея от злобы и холода.

— Ушли и ушли. — У матери даже голос не дрогнул.

Переводчик что-то сказал офицеру, тот сердито кивнул, обвёл толпу медленным взглядом.

— Если вернутся, сообщите германским властям! — В голосе полицейского зазвенел металл.

— Фойер! Сжигать! — И офицер зашагал к брошенному дому.

Солдаты бегом бросились к соломенному омёту, притащили к крыльцу охапку соломы. Офицер достал из кармана шинели ракетницу, вскинул руку. Хлопнуло, морозный воздух прожгла огненная полоса, в соломе вспыхнул огненный шар. И тут же стеной поднялось пламя.

Тишину прорезал короткий вскрик. Из толпы выскочила тигровая кошка, бросилась к горящему дому, исчезла в дыму и пламени...

Не помня себя, к дому бросился маленький Егор. Я хотел, но не успел схватить его за рукав. Матрёна рванулась мне на помощь, но вдруг оступилась. Моей матери помешал Серёга, насмерть вцепившийся в её руку. Малыша догнала его сестра Маша. Схватила, повалила в снег...

Ничего не понимая, один из солдат дал очередь из ручного пулемёта. Пули прошли так низко, что люди в ужасе легли на снег.

Солдаты захохотали, затопали сапогами. Дом горел уже вовсю, лицо мне обдало жаром. Когда дом Огурцовых догорел, каратели ушли. Люди молча обступили большое жаркое огнище. Сгорело всё, что может сгореть. Даже ограда из жердей. В стороне на снегу сидело что-то косматое, опалённое огнём. Это была тигровая кошка. С двумя спасёнными котятками. Егор бросился к своей любимице, к котяткам.

НА ПОДТАЯВШЕМ ЛЬДУ

Когда рядом начинали стрелять, мы с Серёгой бросались к матери, хотя она и была без оружия. В войну мать стала для нас не только матерью, но и отцом. И мы видели, что мать помогает партизанам, а значит, воюет с фашистами.

У партизан были топографические карты, на иных картах были отмечены даже тропы. И всё же никакая карта не могла в нашей местности заменить проводника. Не все тропы и дома были на картах. Партизаны чаще всего были вынуждены ходить по ночам сложными, окольными путями. Днём можно было попасть в засаду, наскочить на карателей. Многие дороги оставались опасными и ночью.

Мать выросла среди рыбаков и охотников, не боялась воды и леса, ходила на болото за ягодами. И теперь она, это понимал даже я, стала надёжным проводником. У неё были свои переходы, свои лазы. Однажды мать сказала мне, что стала хорошо видеть в ночной темноте.

Ходила мать быстро, я всегда за ней едва поспевал. Я догадывался, что и партизан мать водит так же быстро.

Как-то мать рассказала, что ещё совсем маленькой попала на мшары и чуть не утонула.

— Страшно было, да? — испуганно спросил Серёга.

— Бывает и пострашнее... — ответила мать.

Я понял, о чём мать хотела сказать. Ошибись она теперь, ошибка могла бы стоить очень дорого... Погибла бы сама, погибли бы партизаны, мы остались бы сиротами...

Чуть свет в деревню ворвались немецкие егеря. Подбежав к окну, я увидел, что посреди нашего огорода поставлен пулемёт, и пулемётчик бьёт в сторону озера. Я перебежал к другому окну, чтобы увидеть, в кого он стреляет. Мать и братишка оказались рядом. И тут я увидел егеря с карабином. Разгорячённый боем, он лёг между двух яблонь, отстегнул фляжку, отвинтил пластмассовую крышку, жадно выпил из горлышка. Он тоже увидел нас, сорвал с плеча карабин.

— Ложись! — завопила мать и толкнула одной рукой меня, другой — брата.

Брякнулись об пол... С сухим звоном, как лёд, посыпались осколки стекла. Дохнуло холодом и запахом гари.

Лишь когда палить перестали, мать осмелилась закрыть разбитое окно подушкой...

Даже рыбы не стало. Каждый день — бой, на озеро не покажешься. Есть стало почти нечего. Но доилась корова. Половину молока мы относили Огурцовым, поселившимся в доме Антипа Бородатого. Корову у них увели каратели, когда жгли постройку.

По весне партизаны стали приходить чаще. Мать брала палку-посох, надевала отцовские сапоги, вела партизан. Самыми безопасными мать считала тропинки, проложенные по озёрным берегам, и лесные тропы. Мать уходила, а мы с Серёгой забирались на печь и ждали, когда она вернётся...

Во время перестрелки выбило стекло в другом окне. Мы даже толком не испугались. Но стало страшно, когда я выбежал на крыльцо: по полям, на которых сошёл почти весь снег, шли цепь за цепью каратели.

Я вернулся, рассказал матери о том, что видел.

— Опять облава. — Мать покачала головой.

И вдруг к дому подъехали сани с тяжелоранеными партизанами. В дом вбежал подводчик, перепуганный молодой парень.

— Где наши? В Усадине? В Носовой Горе?

— В лес тебе надо, — насупилась мать. — Вокруг каратели, не видишь, что ли?

— Вижу. Под берегом попробую...

— И не пробуй. Закрайки. Одна дорога осталась: наискосок через озеро. Сама поведу.

Мать действовала быстро и решительно. Взяла коня под уздцы, повела. Сани легко скользили по влажной земле. Из окна мне было не видно, как партизаны и мать перебрались через закраек, но вскоре сани уже катились по голубоватому подтаявшему льду, конь шёл спорой рысью, мать бежала рядом. Подводчик едва поспевал за санями, резко натягивал вожжи. И вдруг лёд просел под матерью, и не держись она за узду, тотчас ушла бы в воду. И тут я увидел, что она сама выпустила повод, по плечи ушла под лёд. Понял: не сделай мать этого, сани с тяжелоранеными тоже провалились бы...

Сани прошли рядом с матерью. Подводчик плашмя лёг на лёд, протянул маме приклад карабина...

Серёга тоже всё видел, заплакал от ужаса. Вдвоём, забыв об опасности, мы бросились к озеру... Сани поднимались на противоположный берег, к нам бежала мокрая и перепуганная мать.

В первый раз мать легла вместе со мной и Серёгой на печи. Всю ночь она металась в жару. Утром рассказала, что видела во сне, как сани уходят под лёд, чуть не сошла с ума.

— Неправильный сон, — успокоил маму Серёга.

ИЗ ОГНЕННОГО КРУГА

В тот день партизаны появились не вечером, как обычно, а рано поутру. Глаза у всех красные от бессонницы, одежда и обувь мокрая. Вместе со всеми пришёл Иван Матвеевич, наш учитель. Он был в задубевшем кожаном пальто, в мокрых валенках. Близился конец апреля, не все партизаны обзавелись сапогами. У нашего учителя их не было тоже. Кто-то из партизан тут же прилёг на полу, положив вместо подушки под голову мешок с патронами...

И впервые я услышал слово «окружение». Повторялось оно шёпотом, но пугало куда больше, чем гулкое и резкое «облава». Выбегав на улицу, я увидел вокруг чёрные-чёрные дымы. Горело сразу десятка два-три деревень. Дымы замкнулись в страшное гигантское кольцо.

Меня вдруг позвала мать. Она вывела из хлева корову, сказала, что мы пойдём в деревню Шарино.

— Зачем? — удивился я.

— К быку поведём, — ответила мать как бы между делом.

Сначала мы шли берегом озера, потом перебрались через Грязный ручей, который и вправду был грязен, но грязь не стояла, как в луже, а текла. Когда подошли к большаку, мать тревожно огляделась, и мы торопливо перебежали дорогу.

Деревня Шарино, казалось, вымерла. Даже в окна никто не смотрел. Мать постучала в один из домов, о чём-то спросила женщину, что на минуту приоткрыла дверь. Потом мы отошли от дома. Возле большака нас остановили немцы. Это были не полицейские, но смотрели на нас они с недоверием и злобой, как и те, что появлялись по зиме. Фашисты были обвешаны оружием и, что меня удивило, выглядели спокойными.

Мать что-то сказала солдатам по-немецки, они заулыбались, а один, с нашивками, весело похлопал нашу корову по боку.

Мы жили в странном мире. Через короткий срок мать уже говорила с партизанами, и партизаны не пугались, словно никаких немцев рядом и не было. Двое партизан склонились над картой, и один из них провёл красным карандашом линию, на карте словно бы вспыхнула красная искра.

Потом мы с матерью снова пошли в Шарино. Я понял, что мы посланы в разведку, и от страха весь сжался. Мать шла молча, смотрела мимо меня, отчуждённая и целиком ушедшая в себя. Весела была лишь корова, которой до смерти надоело стоять по зиме в хлеву. В марте мы уже водили корову к быку — в соседнее Усадино. Поблизости стреляли, но мать сказала, что война войной, а корова коровой, она про войну не знает. Я хорошо помнил тихий светлый вечер, недалёкие выстрелы и лицо матери, которая, казалось мне, никакой опасности не видит...

Возле большака на этот раз мы стояли в нерешительности не меньше часа, видели, как прошёл патруль, пропустили роту пехотинцев и несколько грузовых машин. Я посмотрел на мать. Лицо её было тёмным от волнения, и взгляд полон страха, как у мальчишки, приготовившегося прыгнуть с обрыва в омут. Мы побежали, мигом миновали дорогу. К Шарину подошли скрытно — по тропинке, проложенной через болотину. И вновь застыли на месте. Страх мой не уходил, и, когда где-то неподалёку выстрелили, я присел от ужаса на корточки. Мать словно бы не заметила этого, молча смотрела на дома, хлевы и омшаники...

Что было потом — не помню. Думаю, что забыл от страха, от напряжения. Помню лишь наш дом, брата, выбежавшего на крыльцо, партизанского часового. Стоял уже вечер, становилось темнее и темнее.



Страшное кольцо пожаров пропало вдруг в глубокой тьме, но тут же взвились в небо сигнальные и осветительные ракеты, и нашу деревню, озёра и лес взяли в огненный круг, и круг этот стал сжиматься...

В темноте партизаны ушли по лесной дороге.

...Когда я увидел фашистов, не поверил глазам — так их было много. Покачивались каски, вязли в сырой земле грузные сапоги. Шли солдаты бесшумно, держа на весу оружие...

Бежать в лес, в старую пекарню, мы уже не могли — бросились к погребу, устроенному в озёрном берегу. На лестнице, ведущей вниз, было семнадцать ступеней, но по ним никто не спускался, скатывались, будто с ледяной горы.

В погребе мы с братишкой забились за мешки лука. Люди сидели так тесно, что нельзя было пошевелиться. Закрыли люк, и стало совсем темно. Выстрелы слышались глухо; было не понять, где стреляют. Сидели мы молча, не зажигая света.

Вдруг кто-то затопал наверху. Стало жутко: а вдруг откроют люк, бросят гранату.

— Может, это Яшка и Машка? — спросил у своей матери Саша Андреев.

Тётя Паша резко встала, пробилась к выходу, открыла люк.

— Ах, вы, окаянные... Я вас сейчас!

Заперев козла и козу в хлеве, тётя Паша вернулась в погреб.

— Что там наверху? — спросили из темноты.

— Бой идёт. За лесом... Ракеты пускают, чуть не из-за каждого куста.

Стрелять вдруг стали совсем рядом, кто-то пробежал по тесовому люку...

Потом его с треском открыли, по лицам заметался луч карманного фонарика. На лестнице стоял наш учитель, он и светил.

— Окружили нас, нигде нет выхода. Нужен проводник.

Быстро поднялась по лестнице наша мать.

— Хорошо, — сказал Иван Матвеевич. — А хоть раз переходила через болото? Другой дороги нет.

— Проведу, — сказала мать. — Пешие пройдут... По топи проложены кладины, стоят вешки. Выйдем к Шарину, солдат там немного...

— Тогда — за мной! Дорога каждая минута.

Прошло сколько-то времени, может быть целый час. В открытый лаз бил ветер, врывались звуки боя. В страхе за мать, я бросился к лестнице, вскарабкался по скользким ступеням. Кто-то пытался меня остановить, но не успел...



По берегу озера бежали люди с оружием; в темноте не было видно, фашисты это или партизаны. Будто шаровые молнии, проплывали осветительные ракеты...

Болото лежало между двух холмов, окружённое еловыми гривами. Люди говорили, что в глубине его прячется озеро, глубину которого никто толком не измерил. Вокруг озера — топи. Ходить туда решались немногие: в «окнах» погиб не один человек, перед самой войной утонула заблудившаяся лошадь. По ночам болото грозно гудело...

Я понял вдруг, что пройти ночью — невозможное дело.

Вдруг над болотом стало светло от ракет, резко скрестились огненные трассы.

Стало так светло, что я увидел крыши Шарина, того самого, куда мы с матерью дважды ходили днём.

...Кто-то уцепился за мои ноги, и я оказался вдруг внизу — во тьме и духоте. Время снова будто бы приостановилось...

А потом в погреб хлынул утренний свет.

— Выходите, люди добрые! Кончилось!

Жива-невредима по лестнице спускалась мать. Я бросился навстречу, но меня опередил Серёга.

— Страшно было? — спросила у матери Матрёна.

— С партизанами не так страшно, а вот как осталась одна... Заплутала со страху. Как только им в лапы не угодила. Хорошо, немец помог...

— А как это он помог? — удивился Серёга.

— Просто. Пустил ракету, я и увидела, что прямо к ним и иду.

— Пробились, значит, наши? — спросили из глубины погребя.

— А как вы думаете? — И глаза матери стали вдруг весёлыми...

Чистое огромное небо синело над нашей деревней. Нигде не было видно столбов дыма, не стреляли, не вспыхивали ракеты.

— Куда это они только делись? — пожала плечами тётя Паша.

— Погнались, видно, за нашими... — сказала мать.

А вокруг шумела ранняя весна. Жарче самой яркой ракеты светило апрельское солнце.

КАРАТЕЛИ

Весна не принесла радости людям. Шли бои, немцы жгли деревни...

Поднялась трава, и отощавший за зиму скот погнали в поле. Прежде этот выгон был праздником. Дед Иван Фигурёнок играл на жалейке, охотники палили из ружей.

Теперь стрельбы без того хватало, а дед Иван играть не захотел. Первая очередь выпала нашей семье. Мы с Серёгой взяли по пруту, погнали стадо на опушку леса.

— Увидите немцев — сразу в лес... — сказала нам мать. — Вместе со стадом, поняли?

Мы всё поняли. С тех пор как начались пожары, в лес стали уносить всё, что можно, — зарывали, прятали. Я сам помог матери зарыть самовар и медную посуду. Мы отнесли в лес даже зимние рамы, укрыли клеёнкой и замаскировали сухим мхом...

За зиму стадо поредело, меньше стало и овец, и коров. Животные словно бы одурели от тепла и света. Телята носились как угорелые, козёл Яков тряс витыми рогами, мычали коровы.

Я решил сбегать домой и на всякий случай увёл стадо на просеку. Там трава была ещё гуще, чем в поле, и дело можно было доверить братишке.

Выбежав к озеру, я увидел фашистов. Прямо по полю летели тяжёлые мотоциклы с колясками. В сёдлах сидели солдаты в пятнистых куртках и касках, покрытых маскировочными чехлами. К коляскам были привинчены пулемёты. Мотоциклы неслись прямо на нашу деревню. Возле нашего дома застыли как вкопанные...

Дома была одна мать, я заспешил к ней, побежал изо всей мочи.

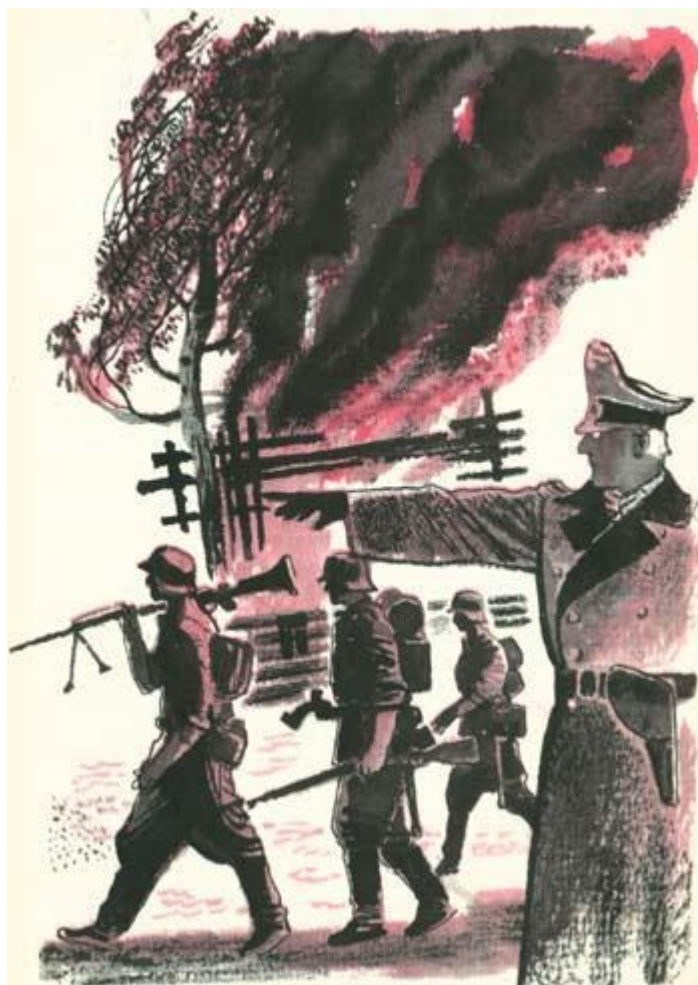
Подбежав поближе, увидел, что немцы рассматривают какую-то карту. Двое солдат ходили по домам, выгоняли людей на улицу. Мотоциклисты не бушевали, как полицейские, не размахивали оружием, но их спокойствие и решительность пугали сильнее, чем крики и угрозы.

Ни вещи, ни продукты брать не разрешили. Перепуганную толпу оттеснили к озеру, пулемётчики в колясках прикрепили к пулемётам. Стало нестерпимо страшно, все мы знали, что не раз расстреливали целые деревни.

Офицер что-то отмечал на карте, хмурился. От людей я слышал, что однажды немцы приехали в деревню, хотели сжечь, но не нашли её на карте и палить не стали... А если и нашей деревни на карте нет?

— Этот деревня — партизански! — резко выкрикнул офицер. — Мы сжигать ваши дома. Ви со скот идти по дорога. Другой дойчен зольдаты водить вас Германия...

И, словно забыв про нас, офицер повернулся к солдатам, что-то приказал на немецком языке.



И тут я увидел немцев со странными металлическими ранцами за плечами, с зелёными трубами в руках. Такое оружие я видел впервые...

Мотоциклист с огнемётом подошёл к нашему дому, в соломенную крышу ударила широкая огненная струя. Зашипело, крыша занялась мёртвым белым пламенем. Огненные полосы так и плясали у меня в глазах... Огнемётчики знали своё жестокое дело. Вспыхнула, задетая огнём трава, как порох горели омёты соломы. Струя случайно ударила в берёзу, и белый ствол в том месте стал вдруг угольно-чёрным...

Врагам помогал ветер, разнося языки пламени. Горели поленицы дров, изгороди, срубы колодцев. Во всю пылали постройки...

Накатились горячие волны дыма. Слезы заливали мне лицо, пожар я видел словно бы сквозь мутную воду. Ярко горел наш дом. Рухнули стропила, пламя уже вырывалось из окон...

Я видывал пожар: за год до войны загорелся дом Тимофеевых. Со всех сторон бежали люди с вёдрами. Вода рядом — в озере, и дом сумели спасти. Жутко было видеть пожар, который никто не гасил...

В отсветах огня лица фашистов казались кровавыми. Офицер улыбался, словно сделал что-то хорошее, а не приказал жечь деревню.

Из огня выскакивали куры, и фашисты хлестали по ним огнём. Те, кто был без огнемётов, подбирали дымящиеся тушки. Летел пепел пополам с куриным пухом.

Дед Иван Фигурёнок не выдержал: крича, с палкой в руке, бросился к офицеру, но старика успели схватить за руки женщины. Мать не плакала, в глазах у неё бился огонь...

На месте семи домов стояли чёрные тучи. Но вскоре дым стал таять, и мы увидели угольные кучи и тлеющие головни.

Что-то прокричал офицер, и солдаты бросились к мотоциклам. Грохоча, стальные чудовища унеслись к Усадину...

Из погреба достали мешки с луком и картошкой, несколько хлебов.

— Немцы! — пронзительно закричал вдруг Саша Андреев.
По полю двигалась цепь пехотинцев. Каратели шли к нашей деревне. Не раздумывая, люди бросились к озеру. Хоронясь под берегом, побежали к лесу. Он словно бы ждал нас, мягко шумел...
Вечером в чаще пекли на углях картошку, пили из случайно уцелевшей посуды молоко. Между ёлок ходил козёл Яков, хмурый и чёрный, словно и он обгорел на пожаре.
Наскоро поставили шалаши, сделали выгородку для скота.
Когда я был совсем маленьким, меня укусила змея. Сначала было не очень больно, а потом я несколько раз терял сознание, и с каждым часом боль становилась всё сильнее. Так было и теперь... Вновь и вновь, будто наяву, видел я горящую берёзу, наш дом в злобном огне, зелёные каски и огненные лица фашистов.
»За что это?« — спрашивал я сам себя, и ответить не мог.
Непонятная боль жгла сильнее огня, мучила, душила...
Во сне я увидел пламя и проснулся. Вверху было чёрное, как пожарище, небо; будто тлеющие угли, горели звёзды.

ИЩЕМ СВОИХ

Женщины решили: у всех есть где-то родственники, нужно идти к своим в несгоревшие деревни. У нас и Андреевых родственники жили в Шумаях и Гусине. В путь отправились едва выглянуло из-за холмов солнце.
Шли боровинами, избегая открытых мест. Мать и тётя Паша вели коров. Саша гнал козла и козу, Маша шла со мной рядом, последним плёлся наш Серёга. Пожар так напугал его, что даже на ворон братишка глядел со страхом. Коровы на ходу хватали сочную траву. Яков цепко посматривал по сторонам. Вид у него был такой, словно не мы вели Якова, а он нас...
Вышли к двум небольшим озеркам. На узком перешейке темнело пожарище.
— А где же деревня? — спросила у своей матери Маша.
— Сожгли, разве не видишь?
Моя спутница была похожа на свою старшую сестру, ушедшую в партизанский отряд. Нину все называли красавицей.
»Когда Маша вырастет, — подумал я, — тоже будет очень красивой«.
В заводи плавали кувшинки, похожие на хлопья снега.
— Достань мне хоть одну, — попросила Маша. — А-а, боишься воды!
Возле тропинки темнели кучи влажной глины.
— Глинобитные дома были, — объяснила мать.
Открылось ещё одно озеро, протянувшееся в длину.
— И здесь пусто, — вздохнула тётя Паша. — А было три деревни рядом...
— Надо идти в Шумай, — сказала мать.
— А может, в Гусино? — спросила тётя Паша.
— Шумай поближе, а дети, видать, устали...
Я не раз бывал в Шумаях, в старом доме с ткацким станком в сенях и ручной мельницей. Вместе с другими мальчишками я ловил пескарей в ручье, дразнил гадюк, прячущихся в тёмных норах. Рядом с деревней был лес, над домами кружили ястребы...
Шли мы долго, но везде были лишь пожарища, и нигде ни живой души. Стало страшно. Я даже подумал, что мы заплутали...
Вот и опушка леса, и холм с деревянной вышкой. Но где же деревня Шумай? В опалённых садах ветер играл пеплом, чернели головни.
— Надо было в Гусино идти... — вздохнула тётя Паша.



Пошли в Гусино. В середине дня мать и тётя Паша подоили коров. Ели хлеб, пили парное молоко. Подойники с остатками молока велели нести мне и Маше. Но я не дал девочке нести тяжесть. Отец мне всегда говорил, что для мужчины тяжесть — только на пользу: станешь сильнее, никто не сможет обидеть. Подойники оказались грузными, но я не подавал виду, что несу их с трудом.

Ещё раз передохнули. Пока мы с Сашей бегали за ёлку, Яков выпил всё оставшееся молоко. Пустые вёдра приторочили к узлам, навьюченным на коров. У козла раздулся живот, Яков отстал даже от Серёги...

И на месте деревни Гусино были лишь пожарища. Где-то поблизости разговаривали немцы, и мы бросились в полутьму леса.

Ночь застала нас в глухой пади. Мать и тётя Паша наломали елового лапника, устроили постель. Легли тесно, чтобы было теплее. Мне досталось место на краю. Ночью я замёрз, в полусне прижался к чему-то мягкому, тёплому. Когда проснулся, увидел, что прижимаюсь к Желанной.

Позавтракав одним молоком, решили идти в наш лес, искать соседей. Вновь мне пришлось нести подойники. Шёл я между Машей и Яковым, который облизывался, поглядывая на молоко...

Вскоре я понял, что мы всё-таки заплутали. Шли быстро, как могли, но не могли найти даже тропки. Серёга качался от усталости, и мать взяла его на руки. Неожиданно братишка заплакал.

— Ты с чего это? — удивилась мать.

— Ваську нашего вспомнил... А куда он делся?

— В лес убежал, когда дом загорелся...

— А что он в лесу делает?

— Ворон разорвет, — засмеялась тётя Паша.

От её улыбки и смеха всем стало веселее, и в ту же минуту мы вышли к быстрой, заваленной валунами речке.

— Лиственка, что ли? — призадумалась мать.

— А может, Лученка наша? — спросил Серёга с высоты.

Тётя Паша сказала:

— Пойдём берегом, речка куда-нибудь приведёт. А идти надо на полдень.

И тут я увидел кусок еловой коры, плывущий по течению. Потом проплыли две розоватые ольховые щепки...

— Люди! — вскрикнула мать. — Люди рядом!

Откуда только взялись силы — мы побежали. Я отстал: нельзя разливать молоко. Первым летел между ёлок Яков.

Речка была перегорожена заколом. На берегу лежал вентерь, сплетённый из ивовых прутьев. Под сизой елью стоял старик в немецкой шинели с волчьим воротником, дымил самокруткой. Старик хмуро глянул на мать и тётю Пашу:

— Дуры бабы, бегут, как скаженные!

— Народ где? Люди? — подступила мать к рыболову.

— Народ? — задумался старик. — Кого убили, кого угнали, кто в лес ушёл.

— Шумайские есть? — спросила тётя Паша.

— Были. Деревню-то он сжёт, а люди успели отойти и скот увели. Ну, партизаны оказались поблизости... Сняли с убитого офицера сумку, а в ней приказ: Шумаи сжечь, людей расстрелять, скот — в Германию.

— А из Гусина кто-нибудь?... — осведомилась мать.

— Кто именно? — Старик глянул строго и пристально.

Мать назвала семью наших родственников.

— Убитые. К хозяйке сын раненый пришёл из отряда, а тут — германец. Повесили перед домом на берёзе. На груди фанера, написано: «Партизан». А отца, матушку и сестру заперли в доме, дом подожгли.

Мать и тётя Паша закрыли лица руками, заголосили. Тоненько заплакал Серёга.

— Это дядю Лёню повесили? — шагнул я к старику.

— Повесили, полуживого, забинтованного...

Я забежал за ель, упал в траву. Дядя Лёня был братом моей матери. Он не раз приходил к нам в гости, звал отца на гусиную охоту на озёра. И мы бывали в гостях в Гусине, ходили в бор за морошкой...

— Хватит, бабы, реветь, — долетел голос старика. — Табачку у вас нет ли?

— Нет... — сердито ответила тётя Паша. — Ничего у нас нет. Веди к людям.

Старик быстро установил вентерь и повёл нас в глубину леса.

— Вышел и мой табак. Заячьи «орехи» курю... Травой всё же пахнет.

За моховым болотом была еловая грива. Под ёлками стояли шалаши, кто-то уже успел вырыть землянку в береговом откосе. Возле одного из шалашей стоял Саша Тимофеев с матерью. Навстречу нам бросилась Матрёна Огурцова:

— Нашлись, пропащие души! А наши все тут!

— В лесу жить не диво, — заметил старик. — Домов, как у зайца холмов.

Тимофеевы позвали нашу семью в свой шалаш. В нём было полутемно, постлан сухой мох, пахло какими-то травами.

— Устроились, — сказала хозяйка весело. — С пяти деревень народ собрался...

Обессиленный, Серёга прилёг на мох, клюнул носом и уснул. Я тоже, едва голова коснулась мшистой постели, провалился в тёплую тьму...

Сквозь сон услышал бодрый голос старика:

— Поехали, а снарядам бух в эшелон!

Приснилось наше озеро. Я сидел на берегу и смотрел в воду. В воде стояли дома, паслись овцы и коровы. Но вместо ястребов над стадом кружили неповоротливые линии...

Очнулся от грохота. С трудом понял: рядом — гроза. В шалаше было сыро и душно.

Мать, присев возле выхода, проворчала:

— Дед, старый, грозу накликал. «Снаряд бух в эшелон. Девку бух в сани...» Вот тебе и бухает!

Гроза не испугала. Мы видели вещи пострашнее...

— Мам, — спросил вдруг Серёга, — а куда делась наша деревня?

— Так ведь сожгли её немцы...

— Это я знаю, а куда она делась?

От глупого вопроса Серёги мне стало не по себе. Я понял, как много мы потеряли. Жизнь словно бы взорвалась, лишь мы чудом уцелели. Пройдёт война, люди вернутся на пожарища, поставят новые дома, но прежняя жизнь, всё, что было прежде, не вернётся уже никогда...

Послышался хрипловатый голос старика:

— Шинель вот принёс — ребятишек укрыть. Хорошая шинель, тёплая... Немец потерял со страху, когда от наших бежал.

Нас с братишкой укрыли шинелью. Серёга прижался ко мне, и мы быстро согрелись. В ночной темноте мне на миг показалось, что мы дома, в своей деревне. Щекой я чувствовал каждое движение Серёгиных ресниц. Братишка о чём-то думал...

ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ

Теперь мы жили не у леса, а в лесу. Здесь всё было не так, как в деревне. Люди болели от простуды, боялись ночных криков филина, темноты.

Мы с матерью перетащили в еловую гриву запасные рамы, принесли самовар и медную посуду. Старик в немецкой шинели помог связать сруб, который мы наполовину зарыли в песок, а сверху обложили глиной и дёрном. Вставили окно, сколотили дверь из еловых плах. В землянке оказалось тесно, как в деревенской бане, но жить было можно.

Мылись в озере, а потом вырыли яму, наносили в неё воды, накалили в костре несколько валунов, скатили их в яму, туда же бросили куст можжевеля. Потом куст вынули. Вода в бочаре была горячей и пахучей. Мылись без мыла. После купания Серёга заболел. Ночью испугался, услышав птичьи голоса...

— Леса боюсь! — И братишка заплакал навзрыд.

Мать принялась утешать Серёгу:

— Не надо бояться. Лес друг нам, а не враг. Выпей отвара, станет легче.

Братишке и на самом деле стало легче.

Лес укрывал нас от врага, согревал, кормил. Наша комяга была цела, уцелела и сеть, которая во время пожара сушилась на берегу. Мы по ночам уходили на озеро, ловили рыбу. Хватало её чуть ли не всем.

Люди старались помогать друг другу. Тётя Паша часто повторяла:

— Всё будет по-нашему. Что Гитлер придумал, чтобы жили, как ему хочется... Не выйдет! Зря старается!

Мальчишек в лесном лагере была, как шутила мать, целая рота. Одетые во что попало, тёмные от загара, мы носились по лесу, играли в войну.

И вдруг перестал играть наш Серёга:

— Есть хочу... Голова болит.

Я отвёл брата в землянку, напоил молоком, но лучше ему не стало.

Хлопнула дверь, на пороге вырос Саша Тимофеев.

— Мальчишки за земляникой собрались. Побежим, а?

— Земляники хочу... — захныкал братишка. — Красной-красной.

— Подожди немного, принесу! — успокоил я Серёгу.

Идти за ягодами было неблизко. В поход собрались самые старшие. Вожаком выбрали Сашу Тимофеева. На поясе у него висел немецкий штык в чёрных ножнах — настоящее боевое оружие.

Земляничные луга лежали за моховым болотом — идти пришлось по зыбучим кочкам. Мох проваливался под ногами, хотелось упасть, катиться, как колобок. Я быстро выбился из сил, но рядом был Саша Тимофеев, протянул руку, потащил за собой...

— Пришли! — закричал Саша Андреев.

Земляника оказалась крупной и спелой. Я впервые в жизни видел столько ягод. Местами опушка была багряной от ягод. Пахло так вкусно, что у меня закружилась голова. Глотал Ягодины, пока не наелся. Снял шапку — набрал полную. Товарищи ликовали: «Ешь не хочу!»

Саша Андреев отошёл от леса, оказался возле дороги. И вдруг он замер на месте, поджав ногу, будто журавль.

— Мины! Заминировано!

— Иди сюда! — приказал Саша Тимофеев.

— Не могу. Страшно. Выведите меня!

Саша Андреев не был трусом. Я понял, что мин много, может погубить одно неправильное движение. И тут я сам увидел чёрную проволоку — рядом с моей ногой. Вскрикнул испуганно...

— Никому не двигаться! — приказал Саша Тимофеев. — Мины натяжного действия.

Проволока что паутина. Не пугайтесь, всех выведу.

Саша Андреев огляделся, двинулся сам. Саша Тимофеев приблизился к нему, показал, куда идти.

— Там нет ничего, не бойся...

Время словно пропало, от страха резало глаза, я шёл словно во сне. Когда ступил на мох, ноги подломились, лёг между кочек.

Рядом лежали другие мальчишки. Над мшарами вдруг загудел самолёт. Не раздумывая, все вскочили, бросились в заросли низкорослой болотной сосны, затаились среди кочек, заросших брусничником...



Лётчики не заметили нас, самолёт ушёл в сторону холмов. Я поднял голову, увидел зелёное брюхо самолёта, чёрные кресты на крыльях.

— Вот и в прятки поиграли, — невесело пошутил кто-то из мальчишек.

Взрослые от ягод отказались, девочки пришли в восторг. Но больше всех обрадовался наш Серёга — глазёнки его так и засверкали. Брал в губы он по земляничке, счастливо шурился...

Я взял из шапки несколько ягодин, но они показались мне горькими, что калина...

Ночью меня разбудил Саша Тимофеев, дал штык, отвёл на пост. Целый час я стоял под ёлкой, сжимая холодное оружие. Люди спали, я их охранял.

В нашем лесном лагере каждый по очереди становился часовым, ведь рядом были враги.

Партизаны знали про нас, приходили, приносили продукты и лекарства. Мы знали, что, если что, партизаны встанут на нашу защиту... Ночью хорошо думается. Я думал об отце.

Мы не воюем, но ходим по краешку смерти почти каждый день. А каково ему, советскому воину? Вдруг я подумал, а что, если и отец сейчас стоит на посту?

ХЛЕБА ПОСПЕЛИ

В лесах было без счёта таких деревень, как наша. Таясь от карателей, люди ставили шалаши, рыли землянки и окопы. Фашисты боялись углубляться в лес — там партизаны, а люди боялись выходить из леса...

По просьбе партизан мы с матерью целый день следили за дорогой. По дороге без конца шли колонны солдат, проносились мотоциклы и бронетранспортёры. На холмах стояли миномёты и орудия.

Лето выдалось жаркое, возле спалённых деревень быстро вызревали хлеба. Пришла пора жатвы, а жать было почти нечем: лишь у немногих уцелели серпы. Несколько серпов выковал дед Иван Фигурёнок, отточили спасённые косы. Саша Тимофеев на камне в острое жало оттянул свой штык.

— Попробую штыком. Вдруг получится?

Работать решили по ночам, когда переставали летать самолёты, останавливались маршевые колонны. Мать сказала, что возьмёт меня с собой — оттащить в лес снопы, и все остальные мальчишки, кто постарше, пойдут со взрослыми.

Серёга понял, что его не возьмут, молча показал мне кулак...

Выдался тёплый безветренный вечер. Вышли, едва стемнело. Над холмами стояла заря.

Вода в озере от зари казалась огненной...

Женщины работали, низко нагибаясь. Фашисты были совсем близко: над деревьями бесшумно лопались ракеты. От ракет рожь становилась то зелёной, то алой, то оранжевой...

Тяжелее всех было Матрёне Огурцовой: мешал высокий рост. Матрёна жала полулёжа, боком пробивалась сквозь хлеб. Мать и тётя Паша встали на колени. У Саши Тимофеева ничего не вышло, принялся вместе со всеми мальчишками таскать снопы.

Мальчишки послабее тащили снопы на спинах; в сумерках казалось, что снопы сами бегут к лесу. Кто посильнее, тащил сразу пару снопов, подхватив их под мышки.

Стойки ставили под ёлками, метрах в сорока от опушки. В лесу было темно, я в кровь разбил босые ноги. Страх быстро прошёл, сменился радостью: когда работаешь на людях, всегда радостно.

С поля ушли, когда начало светать. Днём спали как убитые. Сквозь сон я слышал какой-то стук, в испуге вскочил. На брезенте, расстеленном под деревьями, горой лежали снопы. Мать была по огромному снопу, была так, словно перед ней был фашист. Рядом молотили другие женщины, лихо махали цепями мальчишки. Работал даже наш Серёга.

Нашёлся цеп и для меня. Встал рядом с братишкой, выбрал сноп покосматее...

Старик в немецкой шинели провеивал зерно на ветру. Полова, кружась, улетала, на веретёе осыпалось зерно — чем дальше от края, тем крупнее. Я никогда не видывал золота, но понял — вот оно такое...

Нам помогали двое раненых партизан. Один орудовал правой рукой, другой — левой. Дед Иван Фигурёнок налаживал ручную мельницу. На куче обмолоченных снопов сидели совсем маленькие дети. Работать они ещё не могли, но им хотелось быть там, где работают.

— Хорошо! — сказала вдруг наша мать. — Теперь будем с хлебом. С хлебом не пропадёшь... Он — всему начало. А нет хлеба — нет жизни...

— Это так, — согласилась с матерью Тоня Тимофеева, — где хлеб, там и радость. Девчонкой, помню, жать ох не любила. Это на отцовских-то хлебах. А как хозяйкой стала — вяжу за жнейкой снопы и песню пою!

И вновь вечером вышли на жатву. Шли вереницей, боясь отстать друг от друга. Работать начали молча: каратели целый день стреляли около озера. Было похоже, что они где-то совсем рядом.

Жать решили не до конца поля — оставить полосу ржи, чтобы всё поле казалось немцам нетронутым.

Всё шло как по маслу, и вдруг повисло сразу несколько осветительных ракет — справа, слева, впереди. Брызнули светом мотоциклетные фары, гулко ударили пулемёты. Тоня Тимофеева покачнулась, боком упала в рожь.

— Ложись! — закричал кто-то поблизости.

Я упал навзничь, пополз по стерне. Пули секли рожь, резали траву... Стреляли от озера, с дороги, с холма. Слепя, вспыхивали ракеты, и вновь обрушивалась темнота — словно в страшном кино рвалась лента.

Ко мне подползла мать, потащила за собой к лесу.

В лесу встали, побежали. Рядом бежали другие люди. Стрельба вдруг стала яростней. Я понял: подошли партизаны, ударили по карателям.

В лесной лагерь не вернулись три женщины...



Я видел это страшное поле. Убитые лежали рядом с жёлтыми снопами. Тётя Тоня уткнулась лицом в траву, широко раскинула руки... Ветер шевелил её тёмные волосы. Лицо другой убитой кто-то закрыл чёрным платком. Видимо, пуля попала в лицо, изувечила его. На третью убитую смотреть было страшно: платье её было красным от крови. А вокруг стояла невиданная красная рожь...

Ко мне подошёл Саша Андреев, увёл к озеру. Возле тропы чернел обгорелый немецкий мотоцикл. В траве лежали убитые каратели: зелёные на зелёном. Убитых было много — партизаны отомстили за нас.

Убитых женщин хоронили вместе с партизанами. В лесу, на поляне, была вырыта могила. Погибших завернули в брезент, опустили вниз. Партизаны дали прощальный салют из автоматов и карабинов.

Рядом с могилой стоял Саша Тимофеев. За плечом у него был автомат, снятый с убитого мотоциклиста, на поясе — штык в чёрных ножнах. Саша был моим ровесником, но вдруг словно бы повзрослел. Партизаны взяли его в отряд, не раздумывая. Саша имел на это полное право.

...Вечером женщины пекли хлеб из муки нового урожая. От запаха печёного хлеба проснулся дремавший Серёга:

— Хлебом пахнет! Настоящим хлебом!

В ЛЕСНОМ ЛАГЕРЕ

Жизнь в лесу оказалась тяжёлой. Пищу готовили на кострах и в земляных печурках. Вместо горшков — банки из-под немецких противогазов, ведра и котелки. Ложки вырезали из дерева, плели корзины и корянки, лёгкие колыбели. В землянках появились ступы с пестами, ручные мельницы, лыковые мешки. Люди словно бы вернулись в давнее время.

На лесном озерке мне показали «котцы». В крящеватое дно были вбиты еловые палки — тесно, одна рядом с другой. Вместе они образовали целый лабиринт. В самом центре было мелко, там собиралась попавшаяся в ловушку рыба, которую вычерпывали корзинами. Пойманных рыбин чистили, обкладывали травой, закатывали в глину. Колобки укладывали под угли, когда костёр догорал...

Скотину пасли на горях и просеках. Заслышав гудение самолёта, стадо гнали в чашу. Я боялся, что Желанную укусит змея, охотно помогал всем, кому выпадала очередь пасти. За труды получал то кружку ягод, то сухарь, то ещё что-нибудь съестное. Всех быстрее привык к лесной жизни кот Васька. Морда его частенько была в птичьем пуху, а живот раздут, словно мяч. Василий одичал: точно рысь прыгал с ёлки на ёлку. Медленнее привыкали люди. Костры можно было жечь только днём, да и то, чтобы дым не валил, а растекался по лесу...

Неожиданно пришли партизаны. Их было много — наверное, целый полк. Глаза у партизан были усталыми, от ватников пахло багульником и хвоей. Среди бела дня партизаны уснули как убитые. В нашем жилье с трудом устроился Василий из Перетёса — лёг с угла на угол, чтобы не поджимать ноги. Противотанковое ружьё он поставил в углу, мы с Серёгой рассматривали его, пока не надоело.

Не спали лишь часовые и не очень молодой партизан с трофейной полевой сумкой на боку. Он заходил то в одну, то в другую землянку, беседовал с жителями. Мать предложила партизану молока, но он отказался.

— Не надо. Дети голодные... А я чай пил.

Партизан хмурился, разглядывая ступы и песты, ручные мельницы.

У партизан было мясо. Его отдали людям, чтобы приготовили пищу для себя и гостей. Мать принялась готовить жаркое. У нас был лук, немного картошки, соли. Вспомнив, что жаркое бывает ещё вкуснее, если в него положить можжевельных ягод, мать выбежала из землянки, нарвала ягод прямо с куста. Когда сели за стол, вечно голодный Серёга чуть ли не плакал от счастья, увидев мясную пищу.

Вечером в лесу раздался стук топоров. Партизаны валили деревья. Работой руководил партизан с трофейной сумкой.

— Это ваш командир? — спросила мать у Василия из Перетёса.

— Командир, только не самый главный. Начхоз, хозяйственник... Был сапёром, мины ставил, а вот теперь — одевает нас, обувает, кормит.

Деревья валили топорами, будто в давние времена. Бронебойщик Василий не работал, казалось, а воевал. Наверное, в древности русские богатыри вот так же топорами валили с сёдел крестоносцев. Василий в минуту расправлялся с огромной елиной.

Работы хватало всем. Мы, мальчишки, затирали грязью белые пни, чтобы фашисты ничего не заметили с самолёта. Женщины оттаскивали еловые лапы, складывали в косматые копны.

Брёвна относили на берег Лученки.

— Что будет-то теперь? — спросил я у матери.

— Баню хотят ставить, мельницу и хлев для скота.

— Хорошо, а вдруг не получится?

— Получится... — весело улыбнулась мать.

И даже хмурый хозяйственник, слышавший наш разговор, весело потрянул чёрной кубанкой.

Партизаны несли брёвна вдвоём-втроём, один Василий брал сразу два: по бревну на плечо.

Мельница оказалась небольшой, чуть больше нашей землянки. Огромным было лишь колесо с дубовыми плитами. Жернова нашли где-то на пожарище. Инструменты каким-то чудом сберёг дед Иван Фигурёнок. Партизаны во всём слушались деда и своего хозяйственника. Мельницу поставили под ивами, чтобы не было видно с воздуха. Мать подошла к хмурому партизану, спросила, как будут делать плотину.

— Подрубим на берегу осины, повалим в воду. Так бобры делают.

— Значит, с хлебушком теперь будем.

— И продуктами немного поможем...

— Где их теперь возьмёшь? Не с неба же свалятся?

— Вот именно с неба — с самолёта сбросят.

— Самим продуктов не хватает, хоть партизан накормили бы!

— А здесь все партизаны, — сказал хозяйственник.

...После ужина я сразу заснул. Сквозь сон услышал, как тётя Паша рассказывает Серёге сказку:

— В конце концов старуха и попроси: чтоб было у неё новое корыто! Рыбка хвостом болтанула: всё тебе, мол, теперь будет...

Послышался весёлый смех. Я поднял голову: смеялись мать, Василий и всех громче — хмурый партизан.

Тётя Паша как ни в чём не бывало вела сказку:

— Построй мне, говорит старуха, новую деревню, а то нашу немцы сожгли...

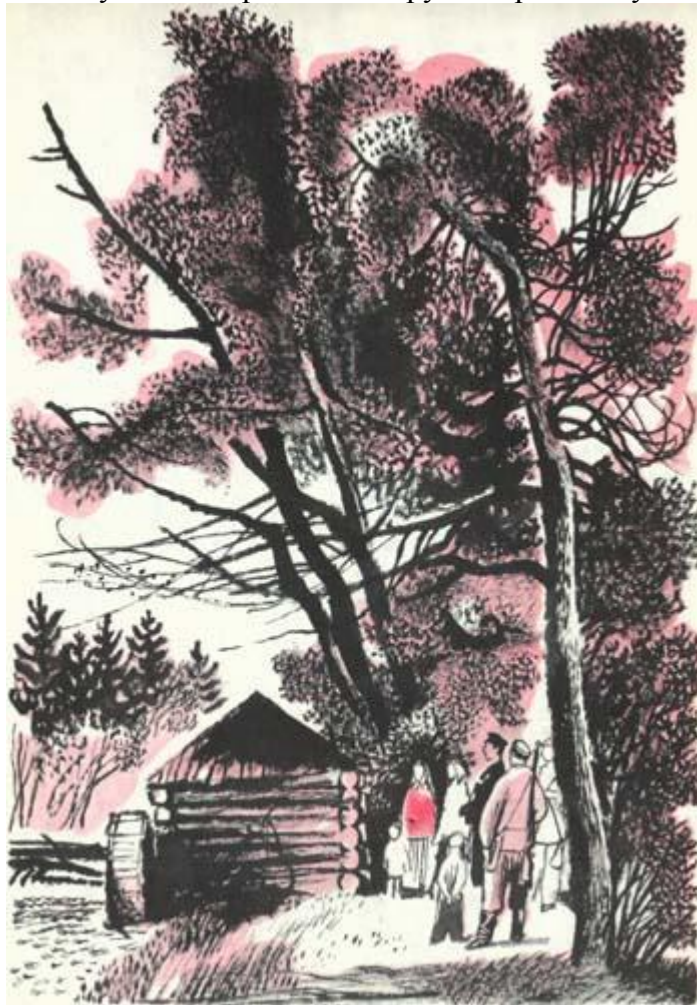
— Что не спите-то? — спросила мать у хозяйственника.

— Отвык за два года. У хозяйственника работа ночная: днём попробуй покажись на дорогах.

— Хорошо, соглашается золотая рыбка, — вновь пробился голос тёти Паши. — Всё тебе, старая, будет. А старику ничего не надо? Как ничего — пулемёт и мешок патронов!

Хорошие вы люди! — говорит золотая рыбка...

Осины, нависшие над Лученкой, поручили валить Василию. Ещё двое партизан помогали ему — упирались жердью в подрубленное дерево. Первой рухнула старая дуплистая осина, загородила поток, остановила воду. Рядом с первой осиной легли вторая и третья... Лученка на глазах стала глубже и шире. Закипел рукотворный омут...



Дед Иван открыл водород, мельничное колесо дрогнуло, покачнулось, повернулось словно бы нехотя, потом чуть побыстрее и пошло, пошло кружить как заведённое. Заходили, запели корявые жернова. И — чудо: белой струйкой потекла, слилась в мешок мука, тёплая, мягкая, словно ивовый пух...

Вскоре были готовы и банька для мытья, и хлев для скотины.

А потом вдруг появились соль и спички. Мать дала мне коробок спичек, я спрятал его за пазуху, словно что-то бесценное. Мать и тётя Паша кромсали ножницами грузовой парашют, шили наволочки — на весь лесной лагерь.

Торопясь в баню, я увидел хозяйственника: он спал под елью, положив голову на моховую кочу. Я пожалел, что нельзя узнать, как его зовут, сказать «спасибо» за всё сделанное.

А ночью партизаны ушли...

ФЛЯЖКА

Весь день за озером шёл бой. Женщины ходили встревоженные: у кого сын, а у кого брат в партизанах. Мы знали, что фашисты бросают против партизан всё больше солдат и наши несут тяжёлые потери...

В вечерней тишине озеро доносит каждый звук: мы слышали крики команды — на русском и на немецком языках, стрельбу, стоны раненых. Потом все эти звуки заглушил рёв моторов и грохот орудий. Это шли немецкие танки. Даже нам, в глухой чаще, за озером, стало страшно...

Наутро нигде не стреляли. Чуть свет примчалась конная разведка партизан. Женщины бросились к разведчикам.

— Что там было? Кого убили? Что с нашими?

Старший из разведчиков резко остановил коня.

— Когда наши отходили, двое остались — с гранатами, с пулемётом. Полчаса ещё немца держали. Танк подбили, а сколько пехоты положили — не счесть, поле было зелёным от мундиров...

— А живы остались? — спросила тётя Анна Павлова.

— Нет, их гранатами забросали...

— А как звали парней-то? — пробилась поближе к говорившему Матрёна Огурцова.

— Не знаю, — вздохнул разведчик, — не из нашей бригады.

И конная разведка умчалась по просеке...

Первыми на месте боя побывали мальчишки. Саша Андреев отвёл меня за ель, дал пригоршню автоматных патронов.

— Там их сколько хочешь... И немецких, и наших... Петька из Носовой Горы запал нашёл, полосы всех цветов, ну, радуга просто! А ваш Серёга...

Я редко обижал брата, не бил никогда. Но такое прощать было нельзя.

В полях мины, да и сколько мальчишек погибло от того, что возились с гранатами и снарядами.

Братишка хотел прошмыгнуть мимо меня, но я успел схватить его за рубашку. Под рубашкой было что-то спрятано.

— А ну, покажи, — велел я Серёге.

— Это не граната, а фляжка. Воду можно носить.

— А что в карманах?

— Вот, ничего, пустая лента от пулемёта, кольцо от «лимонки»...

Я взял фляжку, повертел. Она была из алюминия, выкрашена зелёной краской.

Завинчивающаяся крышка — на тонкой цепочке. На боку фляжки было выцарапано «О. Д. 1943 г.».

К нам подошла наша мать, взяла фляжку в руки.

— «О. Д.». Уж не Мити ли Огурцова эта штука? Кто её нашёл?

— Я-а... — до корней волос покраснел Серёга.

— Хорош гусь... Скоро без головы домой явишься! Где нашёл-то?

— В лесу, около Лёхинского болота.

— Надо Матрёне показать, побегу...

Увидев флягу, Матрёна прижала её к груди, заплакала:

— Сердце чувствует, что Митина. Сынки, ведите туда, где нашли... Скорее!

Заслышав плач, подошла тётя Анна. Всё поняла, закрыла глаза ладонью. Пошли вшестером: Матрёна, тётя Анна, наша мать, Саша и мы с Серёгой. Вёл сначала Саша, но перепутал тропинку, и тогда вперёд вышел Серёга.

Вышли к пожарищам. Цвели сады. Над обугленной землёй, казалось, стоит белое-белое облако. На чёрно-белой берёзе сидели чёрные, как угли, скворцы, словно и они обгорели на пожаре.

Сразу же за деревней шумел лес. Земля в нём была изрыта окопами, распахана гусеницами танков. Один из окопов был возле болота, что начиналось сразу за лесной гривой.

Серёга остановился возле окопа, показывая, что привёл нас туда, где нашёл фляжку. В пустоте желтели гильзы, возле бруствера гильз лежало столько, что не видно было земли. И ни одного целого патрона.

— Ты и кольцо от гранаты здесь нашёл? — спросил я у Серёги.

Братишка хмуро кивнул.

Возле окопа стояла вековая сосна. Комель её был исколот пулями. Из пробоин сочилась розовая смола.

— Там, дальше, ещё окопы, — заговорил, осмелев, Серёга. — И могила чья-то, и на лесине что-то написано...

— Веди, — опустила руки Матрёна и чуть не выронила фляжку.

— Веди, — вслед за Матрёной молвила тётя Анна — словно эхо отозвалось...

Могила была небольшой, песчаной. На продолговатом холмике лежали цветы: белые и лиловые подснежники. Подул вдруг ветер, и по лесу прокатился глухой грозный гул. Над ёлками молча пролетел чёрный ворон...

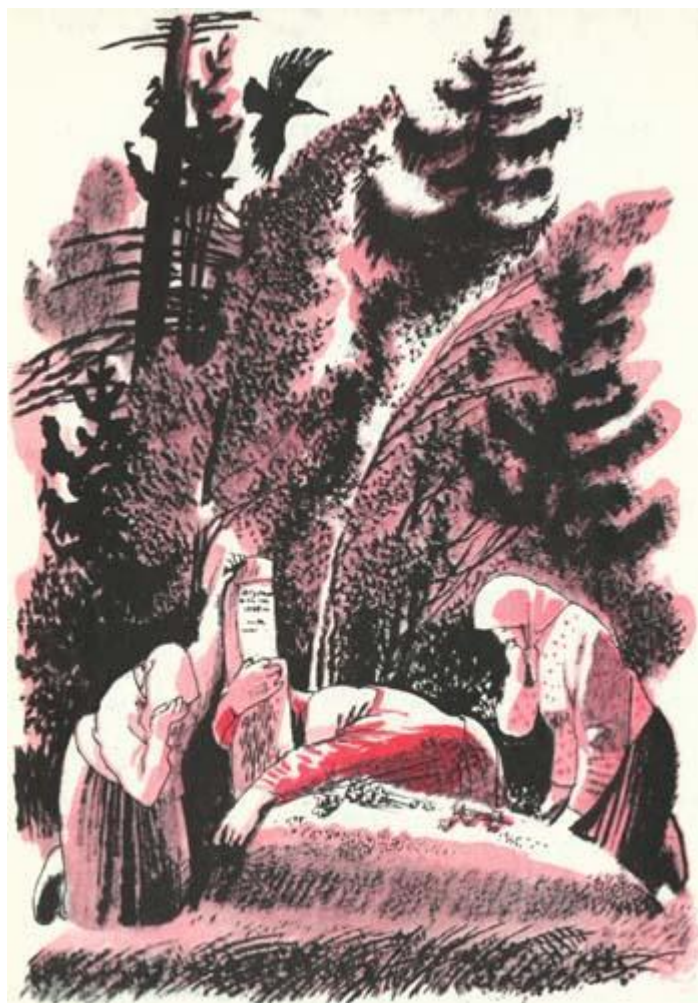
На старой лесине светлела свежая затесь, на ней чётко чернели выжженные раскалённым металлом буквы.

Мы подошли поближе. Это был список погибших партизан.

В самом его начале я прочёл:

«ОГУРЦОВ ДМИТРИЙ АНИСИМОВИЧ. 1925–1943 гг.

ПАВЛОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ. 1927–1943 гг.».



Трое женщин встали на колени перед могилой, лица их были тёмными от боли и горя. Я взял Серёгу за руку, увёл за деревья...

На миг оглянулся: тётя Анна обнимала корявый ствол лесины.

ГРАНАТА

По утрам мальчишки убегали за озеро. Каждый брал с собой короткую сапёрную лопатку. Разгребали в окопах песок, собирали патроны...

В то утро Серёга нашёл гранату — зелёную, как трава, с короткой ручкой из жести. Не дыша, смотрел брат на свою находку. Мальчишки окружили Серёгу, наперебой давали советы. Осмелев, Серёга крутанул ручку. Коротко щёлкнуло...

Я знал, как бросают гранаты этой системы. Серёга поставил гранату на боевой взвод. Бросишь, и она взорвётся от удара об землю. Стоит гранату уронить... Я рванулся к брату, приказал отдать её мне. В страхе все расступились. Осторожно держа гранату, я сделал шаг, второй — и оступился, упал... Слепило, ударило в грудь, обожгло лицо. Когда я открыл глаза, всё вокруг было красным: ёлки, песок, трава, небо. Крича, мальчишки бежали к лесу. Рядом со мной присел Серёга, от испуга у него был открыт рот.

Я с трудом встал. Правая нога была словно чужая. Руки горели огнём, текла кровь. Там, где я шёл, трава становилась красной...

Смутно, словно сквозь слой воды, увидел мать, тётю Пашу. Она вела коня, запряжённого в двуколку. В повозке лежала солома — чуть ли не целая копна.

В руках у матери запрыгала склянка с йодом. Я поднял руки. Жмурясь от боли, смотрел, как льётся йод. Сняв с головы платок, мать разорвала его на полосы, запеленала мне руки. Потом меня положили на солому...

Стояла поздняя осень. Грязь на дорогах заledenела. Колёса повозки проваливались в рытвины. Каждый ухаб болью отдавался во мне.

Подумал вдруг: что же будет с моими руками? Пальцы не слушались. Может, останутся такими навсегда? Я даже представить не мог, как это можно жить без рук. Вспомнил отцовские руки. Отец творил ими чудеса: не глядя, вязал сети, ловко подшивал дратвой валенки, в жгучее жало оттачивал косы...

Попробовал пошевелить пальцами — от боли потемнело в глазах.

— Потерпи, — шёпотом сказала мать. — Скоро будем на месте.

Ехали долго. Мне становилось всё хуже, я тяжело дышал... Увидел вдруг, что меня несут на носилках. В длинном помещении с тесовыми стенами тесно стояли кровати. На них лежали раненые партизаны. Белели бинты и марлевые повязки. Резко пахло лекарствами. Мне вытерли марлей лицо, и мир снова стал многоцветным. На столе стояла белая алюминиевая кружка, в ней была голубая вода.

— Пи-ить... — попросил я торопливо.

Мать взяла кружку, и я напился из её рук.

Вошла девушка в халате из парашютного шёлка, что-то сказала. Мать взяла меня на руки, понесла, словно маленького. В комнате с белой печкой и белыми стенами стоял длинный стол, покрытый чем-то белым. И люди, окружившие меня, были белые, как снеговики. На меня смотрели хмурые синие глаза:

— Ну, парень, крепко тебе повезло... Кто-то снял с гранаты «рубашку».

— Братишка... — сказал я слабым голосом.

В руках у синеглазого сверкнуло что-то узкое, острое...

— Петь умеешь? Тогда спой любимую песню...

Отец и мать часто пели про погибающего кочегара, шумное море и военный корабль. Я запел — из последних сил. Мелькали какие-то инструменты, белые марлевые салфетки. Было нестерпимо больно, я пел и кричал...

Очнулся на кровати. Рядом сидела мать. Руки все болели. Я лёг вниз лицом, положил руки на подушку. Вскоре подушка стала красной. Принесли ещё одну подушку. От слабости перед глазами поплыли тёмные пятна...

Мать склонилась надо мной, горячо зашептала:

— За синими лесами, за белыми полями лежит золотая поляна. На берёзе свила гнездо сизая горlinka. А на чёрной старой ели сидят чёрные вороны. Никого они не боятся, лишь ясна сокола да бела кречета. Летит белый кречет, перья роняет...

Когда я вновь открыл глаза, матери рядом не было. Вошёл врач. Синие глаза смотрели уже не так сурово. Хирург был в суконной гимнастёрке, в ватных брюках и в валенках. На поясе — трофейный пистолет в чёрной кобуре.

— Молодец, держись так и дальше.

Принесли завтрак: полкотелка супа и немного тёмного хлеба. Руки у меня были в лубках, я зажал котелок между лубками, выпил суп, будто воду. Потом съел хлеб — не уронив ни крошки.

Потом пришла медсестра с фляжкой рыбьего жира и ложкой. Прежде я не любил рыбий жир, но теперь проглотил порцию не моргнув. Подумал: рыбий жир привезли из тыла на самолёте, ему нет цены.

Рядом со мной лежал раненый с забинтованной головой; он достал из-под подушки огромное яблоко, протянул мне.

— Бери, не бойся. Только помоги мне: как принесут рыбий жир — выпей и мою долю.

Поможешь?

— Помогу, — успокоил я нового знакомого.

И вдруг мне снова стало нестерпимо больно. Снова меня понесли в белую комнату, и меня окружили люди в белом. Говорили про какой-то осколок. Я кричал, кусая губы. И вновь засверкали инструменты...

Вечером стало легче, но силы совсем покинули меня. Долго лежал в забытии, даже пить не хотелось...

Рано утром пришла мать, принесла ягод, мёда.

— Мёд Андреевы дали... Все про тебя спрашивают. Шла лесом, страшно. Волков много стало.

Привезли раненых. У парня в ватнике и тёплых штанах были оторваны ноги. Обрубки кто-то закутал в серое одеяло. Другой партизан был ранен в лицо. Говорить он не мог, что-то объяснял медсестре жестами. Третий раненый не мог ни говорить, ни двигаться... Кроватей не хватило, легко раненым постелили на полу.

Я уснул, но вскоре проснулся. Тупо ныли руки, горело облепленное полосами пластыря лицо. Пришла медсестра, повела на перевязку. Когда снимали бинты, застонал от боли. Чтобы не смотреть на искалеченные руки, закрыл глаза. Открыл, когда наложили новые бинты.

Новые повязки оказались куда меньше прежних, и — чудо! — из-под бинтов торчали целые невредимые пальцы левой руки...

Слева от меня лежал незнакомый раненый. Ростом он был не ниже Василия из Перетёса. Ноги в шерстяных носках торчали из-под одеяла.

Партизан смотрел на меня и улыбался. Взглядом показал на свои руки. Я ничего не понимал. Но вдруг пальцы незнакомца превратились во что-то замысловатое, и по стене запрыгала тень зайчонка с длинными ушами. За зайцем промчалась собака, пробежал охотник с одностволкой...

— Сказки любишь? — спросил партизан. — Так слушай... Жил-был косой. Жил богато: сколько холмов — столько домов.

— Лучше про войну расскажите, — попросил я.

— Про войну? Это, брат, невесёлый рассказ. Подбили меня из крупнокалиберного пулемёта. В грудь попали... Мы железную дорогу рвали, а тут — бронепоезд.

Говорить раненому было трудно. Лицо его потемнело. А дышал он так, словно прошёл длинный прокос...

Среди ночи я проснулся. Сел, огляделся. Раненые спали. Попробовал встать — получилось. Бинт на ноге был чистым, кровь перестала идти. Опираясь плечом о стену, добрался до самого порога. На столе дежурной сестры горела плошка. Из-под бинтов на моей правой руке выбивался клочок ваты. Поднёс его к огню — пусть отгорит. Вата вспыхнула, словно это был порох. Я закричал, заметался среди кроватей. Повязка пылала, будто факел...

Ничего не понимая, вскакивали в кровати раненые. Я увидел соседа, что показывал мне фигуры. Закусив губы, он поднимался в постели. Схватил одеяло, накинул мне на горящую руку, крепко сжал...

Хирург долго разрезал обгоревшие бинты, слоями снимал обугленную вату. Я снова закрыл глаза, чтобы не видеть искалеченные пальцы. Так, с закрытыми глазами, меня и отнесли обратно.

Чуть свет пришла мать, долго говорила с хирургом. Присела около меня невесёлая.

— Что же ты натворил? — Голос у матери был горьким. Она словно бы нехотя смотрела на меня.

— Ничего... Я вату только хотел...

— А человеку такие муки. Всю ночь с ним возились. Только что увезли. Будут самолёт вызывать. Здесь его не спасти...

— Кого увезли? Зачем?

И только теперь я заметил, что постель моего соседа слева пуста. Будто морозным ветром ударило мне в лицо...

— Ты думал, руки-ноги не забинтованы, голова цела, так и рана лёгкая? У него же в груди пуля разорвалась!

Мать вздохнула и положила на одеяло трофейную губную гармошку. Серебристую, в морозных узорах.

— Это — тебе... От соседа... Понравился ты ему, дурак этакий. И когда взрослым станешь — не ведаю? Говорят, как я ушла — сразу скис. Нехорошо. Ты же у нас мужчина...

Мать ушла. Я лежал притихший, потерянный. Хирург присел рядом, прищурился:

— Вату новую привезли, зелёным огнём горит. Может, попробуешь?

По разговору я понял, что самолёт прилетел, соседа увезли в тыл, в настоящий госпиталь. А значит, спасут от смерти.

Через полтора месяца меня выписали. Мать пришла на тёмной заре.

— Вот и всё... Почти зажило, на перевязки будем приходить.

Мать одела меня, обула в валенки, закутала в тулуп. Возле входа в лазарет стояли сани, в санях сидел дед Иван Фигурёнок.



...Сани вылетели на просеку. Конь шёл рысью, под полозьями шипел снег. Мелькали деревья, валежины, пни. Вдали ярко синели наши холмы — такие знакомые и родные! Золотая поляна, про которую рассказывала мне мать, была рядом...

САМОЛЁТ ПРИЛЕТЕЛ

Третью военную зиму мы встретили в лесу. Замёрзло озеро, потом выпал снег. Утром, выбежав за дверь, я увидел лишь деревья и сугробы, под которыми скрылись землянки... Мы думали, что зима остановит карателей, но бои шли по-прежнему. И по-прежнему проносились над лесом немецкие самолёты.

В сумерках из чащи выкатился санный обоз. Это были партизаны. Подводчики вели коней под уздцы: в санях под овчинами лежали раненные. Впереди обоза ехала конная разведка, позади шло пешее боевое охранение.

Раненных стали размещать в становище. В нашей землянке положили самых тяжёлых. Пол завалили соломой, поверх соломы расстелили парашютный шёлк. Раненные тонули в

соломе, будто в мягком снегу. Пахло лекарствами. Кто-то бредил, кто-то глухо стонал. На бинтах багрянели кровавые пятна.

— Пи-ить, — просил раненый с забинтованным горлом.

Я его узнал: это был пулемётчик, похожий на нашего Митю. Мне хотелось сказать, что я тот самый мальчик, что принёс на позицию патроны. Но партизан ни говорить, ни слушать не мог...

Мать взяла чайник, встала на колени над раненым. Партизан пил и не мог напиться...

Другой раненый просил поправить повязку. Мать ловко раскрутила бинт, перевязала. У третьего были забинтованы руки. Попросил мать достать из-за пазухи коробку с нюхательным табаком. Мама достала, ногтем подцепила берестяную крышку. Раненый понюхал табак, чихнул от удовольствия.

За столом сидел нераненый партизан в чёрной папаше, в чёрной шубе со «сборами», с маузером на поясе и трофейным фонариком на груди. По виду — командир или политрук...

— Нам бы такую медсестру... — сказал партизанский начальник.

— Не справлюсь, — покачала головой мать. — Неучёная.

— А наука тут невелика. Как мы говорим? Сестра милосердия. Значит, надо, чтобы было милосердие. Обязательно. Остальное придёт само. Так договорились?

— А что, и пойду. Только куда денешь этих ухарей? — Мать показала на меня и перепуганного брата.

— Отправим в тыл. Мы уже много детей отправили. Живут теперь в детских домах, учатся... Вернутся скоро. Армия уже рядом... Ждём самолёта. И раненым места хватит, и вашим мальчикам.

— Что ж, согласна. Собирайтесь, парни!

Я снял с гвоздя свою сумку. Серёга достал из-за печурки картонную коробку с гильзами, спрятал за пазуху.

Принесли рацию — тяжёлый зелёный ящик, поставили на стол. Радист надел чёрные наушники, принялся вертеть какие-то рукоятки. Командир сидел рядом, видно было, что он волнуется...

— Просить большой? — Радист коротко глянул на командира.

— Большой. «Этажерка» и половину раненых не возьмёт. Транспортный надо.

— А лететь далеко? — подошёл к командиру братишка.

— Далеко. Но самолёт летит быстро.

Послышался глухой ровный гул.

— Уже прилетел? — спросил у командира Серёга.

— Нет, это немецкие машины... Где-то за озером.

Мне стало страшно, прижался к матери. Вновь утвердилось тишина. Не заметил, как заснул. Разбудил треск дров в печурке. Было уже утро. Раненые ворочались, стонали... Я понял: самолёт не прилетел.

Зимние дни коротки, но этому, казалось, не будет конца. За озером по-прежнему гудели машины. Пролетел самолёт, немецкий. Даже наш Серёга различал немецкие и советские самолёты по звуку.

Приехало много партизан. В землянке стало совсем тесно. Один из автоматчиков устроился на гармони.

— Ты бы нам поиграл, — попросил раненый с забинтованными руками.

Автоматчик сел на порог, заиграл «псковскую». На круг вылетел подросток-партизан. За спиной у него был чёрный карабин неизвестной мне системы. Мальчишка плясал и пел:

Скоро Гитлеру кончина,
Скоро Гитлеру капут!
Скоро русские машины
По Берлину побегут!

Я позавидовал юному партизану: карабин был моей главной мечтой. Придвинулся к командиру, попросил шёпотом:

— Возьмите и меня... Я отчаянный!

— Нет, братец. Тебе в тыл надо, в школу!.. Вот, поиграй пока...

Командир достал из колодки маузер, выщелкнул магазин, отдал пистолет мне. Маузер был тяжёлый, резко пахнул ружейным маслом. Запах этот был мне знаком: таким же маслом отец смазывал одностволку.

...Наконец стемнело. Снова пришла ночь, и снова нужно было ждать. Вбежал партизан, что-то сказал командиру, и всё пришло в движение.

— Кузьмин, — обратился командир к пулемётчику, — посадишь детей. Понял?

— Есть посадить детей! — чётко ответил партизан.

Нас с Серёгой посадили в сани рядом с ранеными. Сани нырнули в темноту леса. О том, что следом движется ещё несколько саней, можно было догадаться лишь по храпу коней и скрипу полозьев... Серёга обнял меня, прижался... Стало светлее, и мы увидели озеро. Горели костры, и в ярком их сиянии озеро алело, как поле смолёвки.

— Звёздочка! Звёздочка! — оживился Серёга.

Над лесом плыла зелёная звезда — яркая-яркая. Загрохотало, ударило ветром, и над озером навис самолёт, огромный, как мне показалось. На крыльях его горели сигнальные огни.

Костры вспыхнули ещё жарче. Самолёт ещё раз пронёсся над озером и, сделав круг, будто сани с крутой горы, скатился на лёд, поднял облако снежной пыли. Партизаны закричали «ура».

Когда мы с Серёгой оказались возле самолёта, из него уже выгружали какие-то ящики и мешки. Лётчик торопил партизан, волновался. Вскоре началась погрузка — при свете карманных фонариков. Раненых несли на руках и на полотнищах брезента. Подали овчины, несколько тулупов. Вблизи самолёт оказался не таким уж большим.

— Осталось одно место! — крикнул откуда-то сверху лётчик.

— Детей... Так приказано! — метнулся к люку пулемётчик.

Мысли смешались... Мать остаётся одна... Из-за нас останется кто-то из тяжело раненных... Меня могут взять в отряд, дать оружие...

Люк был освещён фонариком. На мгновение свет погас. Я рванул за руку брата, нырнул под днище самолёта. Послышались крики, но мы тут же легли на снег, забились под сани...

Взревели моторы, и самолёт улетел. Мы выбрались из укрытия, подошли к партизанам.

— Моего ремня мало, надо у командира просить! — в сердцах сказал пулемётчик.

— Молодцы! — похвалил другой партизан. — Троих раненых ещё устроили...

Вскоре мы были дома. В землянке горел огонь, за столом сидели партизаны, пили чай.

Командир хмуро глянул на пулемётчика:

— Проворонил, а? Понесёшь наказание.

У многих партизан были новенькие автоматы. Возле порога штабелем лежали оцинкованные патронные коробки. На столе лежали газеты и журналы. В глаза бросилось название «Правда».

Один из партизан протянул мне и Серёге по апельсину.

— Берите, ребята! С Большой земли прилетели!

И матери дали апельсин, и каждому из партизан. По землянке разлился запах осеннего сада. Мы съели апельсины — с корками.

Ночью мне приснился апельсиновый сон: оранжевые шары висели на ёлках и берёзах; плыло солнце — тоже оранжевый шар.

РЯДОМ — НАШИ

Я нёс дрова, когда над ёлками раздался рёв самолётного мотора. Бросил дрова и прижался к стволу ёлки. Самолёт шёл так низко, что чуть не задевал макушки деревьев. И я увидел, что на его крыльях не чёрные кресты, а красные звёзды.

— Наши! — закричал я, выбежав из укрытия. — Наши пришли!

Вечером стало слышно, как бьют тяжёлые орудия. Сомнений не оставалось: возвращается Красная Армия.

В нашу землянку пришла встревоженная тётя Паша:

— Партизаны гибнут... Немецкие части вокруг. Около Жерныльского целый обоз разбили, раненых прямо в санях расстреливали...

Наутро загрохотало где-то совсем рядом. Я выбежал на улицу и увидел немецких солдат — в белых штанах и куртках, в белых шлемах и сапогах из кожи и войлока. В руках у солдат были автоматы новой системы: с жестяными прикладами, длинными стволами и плоскими магазинами для патронов.

В руках у офицера была винтовка с оптическим прицелом. Двое немцев волокли фанерные сани, похожие на лёгкую лодку. В них стоял станковый пулемёт, хорошо знакомый мне МГ-42.

Солдаты принялись выгонять людей из жилья. Когда мать и Серёга вышли из землянки, один из солдат, открыв двери, швырнул в землянку гранату. На сборы давали две-три минуты. Мать успела уложить в узел хлеб и какие-то вещи, те, что попались под руку. Из общего хлева выгнали скот.

— И куда это нас погонят? — обратилась к матери одна из женщин.

— Видно, прямо в Германию.

— Ждали своих, а пришли чужие...

— И до Германии наши дойдут, — негромко отозвалась мать.

— Ждали-то сколько, значит, снова ждать.

— Нет разговаривайт! — завопил солдат с забинтованной головой.

Козёл Яков хотел показать характер: бросился к забинтованному, но тот изо всех сил ударил козла сапогом, чуть не сбил с ног.

Никто из жителей лесного лагеря не успел убежать, все оказались в плену. Нас вывели на опушку, повели по полевым дорогам. На обочине валялись клочки сена, их жадно хватала скотина.

За озером каратели свернули к лесу, оставив с нами пятерых конвоиров.

Однажды рядом со мной рухнуло старое дерево — от страха перестали слушаться ноги, долго не мог прийти в себя. Теперь, казалось, обрушился целый лес. Наши рядом, вот-вот придут, до родных мест подать рукой, а нас ведут в дальнюю даль, в страшную чужую сторону.

— Бистрей, шиво! — торопили колонну конвоиры.

Один из фашистов несколько раз пересчитывал людей и скотину.

Неожиданно над колонной прошли самолёты с красными звёздами на крыльях. Конвоиры в ужасе бросились под ёлки, затаились в их зелени. Одна из женщин — с ребёнком на руках — метнулась в чащу, пропала за деревьями. Конвоиры даже стрелять не стали...

Несколько раз конвой сгонял нас с дороги. Мимо проносились мотоциклы, шли машины и танки, покрашенные в белую краску. Валом валила зелёная пехота. Стало ясно, что фашисты отступают — наши теснят чужих...

Лица бегущих были испуганными, глаза горели злобой. Немцы не кричали, не пели, крепко сжимали оружие.

От пяти конвоиров вскоре осталось лишь двое. Я так и не понял, куда делись остальные.

Где-то совсем рядом начали бить орудия — наши или немецкие, было непонятно.

Догадались лишь наши конвойные. Старший что-то прокричал младшему, и оба немца нырнули в лесную чащу. Колонна остановилась, люди бросились врассыпную...

Мать хотела укрыться в лесу, но её остановила тётя Паша:

— Будь что будет, пошли назад. От судьбы не спрячешься.

И мы двинулись: впереди — тётя Паша с козлом и козой, чуть сзади — мать с коровами, следом — мы с Серёгой и Саша с Машей. Женщины спешили, и мы, дети, едва поспевали за ними...

Вошли в знакомую боровину. Снег был распахан гусеницами танков, на снегу лежали пустые зелёные ящики. Немцев в боровине не было видно.

Неожиданно из-за поворота вылетели белые фургоны, запряжённые парами буланых коней. В фургонах были солдаты в тёмной одежде.

Нужно было бежать, прятаться, но мы так устали от войны, что страх смерти пропал... Вот уже повозки рядом. На бортах — какие-то цифры, фигуры медведей. Да, фургоны были немецкие. Но в них сидели русские солдаты — в серых шинелях с зелёными погонами и в ушанках с алыми звёздочками.

Бросив скотину, мать и тётя Паша побежали навстречу повозкам. Обе плакали и протягивали к бойцам руки. Что-то случилось и со мной — силы покинули вдруг, сел на снег, зарыдал... Пришли наши, а значит, и прежняя жизнь придёт, и отец вернётся, если его не убили.

Каким-то чудом у фурунгов первым оказался Серёга. Его подхватили сильные руки, и братишка устроился рядом с возницею. Мать и тётя Паша обнимали бойцов, плакали. Автоматы у наших солдат были такие же, как у партизан, только не такие новые... С головной повозки прыгнул наземь офицер с двумя звёздочками на погонах, расстегнул планшет, посмотрел на карту.

— Из какой деревни? — спросил командир у матери.

— Мы не из деревни, из лесного лагеря.

— Черненко, повезёшь женщин и детей, куда покажут. Бойцам пересестъ в другие повозки. Быстро!

— А как же скотина? — заволновалась тётя Паша. — Может, я погоню?

— Не надо, — сказала мать. — Вон у меня какой парень вырос! Поручим ему.

Бойцы весело заулыбались, и я почувствовал себя героем.

Узлы и люди мигом оказались в глубоком фургоне, повозка рванулась, укатила в сторону наших холмов. Остальные повозки умчались туда, где били орудия, — конечно же, наши. Я остался один, в боровине было тихо и студёно. Взял хворостину, погнал животин.

Коровы пошли послушно, Яков хотел свернуть в лес, но побоялся, что огрею хворостиной, поплёлся рядом с козой.

Снег вокруг был изрыт воронками. Рядом с зимником чернел телефонный резиновый кабель, желтели стреляные гильзы от крупнокалиберного пулемёта. Около дороги стоял ящик с патронами к новому немецкому автомату. Патроны были чуть покороче винтовочных, зелёные, с белыми пулями. Чего только не бросила у дороги война: противогазы в жестяных коробках, пустые пулемётные ленты, мины всевозможных систем, шашки тола, мотки бикфордова шнура...

Я на ходу набил карманы патронами, сунул за пазуху моток бикфордова шнура.

Моё стадо увидело ворох сена, брошенный у дороги. Все четыре животные бросились к сену, не обращая внимания на мои крики. Сена было много, и я понял, что, если стадо меня не послушается, нам придётся ночевать под чистым небом. К счастью, у меня был коробок спичек. Я отрезал перочинным ножом полуметровый кусок бикфордова шнура, достал спички, поджёг... Шнур зашипел, будто испуганная змея-медянка.

С горящим шнуром я подбежал к скотине. Свирепый Яков первым бросился наутёк, за ним едва поспевали коза и коровы.

Вот и наше озеро. Пожарища лежали под снегом, казалось, никогда не было нашей деревни, никто не жил на тихом месте рядом с водой и лесом...

В нашей землянке были выбиты стёкла, но мать хитро соединила осколки, заткнула просветы мхом-белоусом, и ветер перестал гулять по жилью. Потом мать затопила печку, сделанную из бочки из-под горючего, и я наконец смог отогреться.

Прибежал Серёга, позвал меня смотреть наших лыжников. Бойцы мчались так быстро, что я не успевал рассмотреть их лица. И лыжи, и одежда были белыми, автоматы обмотаны бинтами.

Из леса приехала агитмашина, а следом за ней — грузовик с кухней на автомобильных колёсах. Повар дал мне ломоть хлеба и полкотелка супа. Еду предлагали каждому, кто просил. Серёга не знал, как просить, испугался, что останется голодным и заплакал. Тогда повара дали ему целую буханку хлеба и полведра супа.

— Мне этого и не съесть... — растерялся братишка.

— А ты на завтра оставь! — посоветовал повар без улыбки.

Я стоял под елью и думал об отце. Пробовал представить его убитым — и не мог представить. Вспомнил, как ставили сети... Отец щурится, на лбу — дрожащая капелька воды. Попалась большая щука — папа ликует: «Ага, утиный нос, больше не будешь гонять плотву!»

А как наш отец работал!.. Я часами мог любоваться тем, как он ладит коягу или скворечник, отбивает косу, рубит дрова.

Вдруг я подумал: «Вернулись наши — и отец вернётся!»

НОВАЯ ШКОЛА

Вместе с освобождением пришла весна. Утром под окном нашей землянки токовали тетерева. Над мшарами шли косяки диких гусей. Таял снег, между ёлок цвели подснежники.

Всем поскорее хотелось вернуться туда, где так хорошо жилось до войны. Один из холмов был изрыт окопами, а в венце его теснились бункера. Когда партизаны разгромили все комендатуры в округе, фашисты укрепились на холме. Подножие его было заминировано. Бойцы-сапёры убрали мины, раскатали накаты на бункерах, откопали срубы, сняли тесовую обшивку. То, что должно было служить войне, пригодилось для мирной жизни. На старых фундаментах один за другим поднимались дома. Строили, как в древние времена, с одним топором и долотом, без железа. Форточки в рамах не открывались, а сдвигались.

Ни свет ни заря прибежал запыхавшийся Саша Андреев:

— Школу строить начали. Сапёры. Своими глазами видел!

— А где? — спросил я. — На каком месте?

— Около озера. Помнишь, там фундамент был. Говорили, от барского дома. Где мы с тобой землянику собирали.

— А кто учить будет?

— Иван Матвеевич — в старших классах. А в младших — наша Нина. У неё пистолет есть, неисправный. Называется парабеллум. И медаль «За отвагу». А у Саши Тимофеева — «За боевые заслуги».

— И автомат у него?

— Нет, без оружия вернулся. Учиться будет, вместе с нами...

— Воображает, наверно?

— Нет, он не любит говорить про войну. Как пришёл — сразу на озеро. Знаешь, какой крупной плотвы наловил? Во!

— А меня в школу возьмут? — подошёл к нам с Сашей Андреевым Серёга.

— Возьмут, только не теперь, а осенью.

— Откуда ты всё знаешь? — прищурился братишка.

— Нина списки составляла, сам видел!

Не долго раздумывая, мы побежали смотреть, как строится школа.

Лёд на озере ещё не дотаял, через крайки были переброшены кладины. На льду темнели фигуры рыболовов. Вместе со всеми был Саша Тимофеев — мы ему помахали руками, а он в ответ подбросил белую кубанку.

Школу крыли щепой, ещё не потемневшей от дождей и снега, белой-белой. Такими же белыми были и рамы, в которые уже вставили стёкла. Осмелев, мы с Сашей Андреевым зашли в помещение. Пол в коридоре и классах был ещё не покрашен. Всюду лежали вороха стружек, пахло смолой.

В небольшой комнате была печь с вмурованным в неё зелёным котлом от военной кухни. Бак для воды тоже был военным, ковш — из немецкой каски. Не хотелось возвращаться в лес, и мы с Сашей до темноты играли на берегу озера среди траншей и окопов.

Ночью Саша вновь примчался ко мне.

— Нина учебники из города привезла. И книги всякие, и карты!

В землянке Андреевых горела трофейная карбидная лампа с белым шаром, похожим на антоновское яблоко. Мы с Сашей присели к столу, принялись рассматривать принесённое. Тут были и буквари, и учебники «Родная речь», и хрестоматии для старших классов, и задачники, и прописи — глаза разбегались. От учебников пахло краской и лесом — как и в довоенное время. А вот и книжки для чтения — целая гора!

Я взял одну из книг в руки. На обложке её были три буквы — Р. В. С. Я стал читать, и мне показалось, что в книжке всё написано про меня, хотя речь шла о гражданской войне. У меня тоже было заветное место, где я прятал военные вещи. И раненых видел не раз, и помогал им, как мог. Только дезертиров таких, как Головень, в нашей деревне не было... Через три дня начались занятия. В школу пришли, едва поднялось солнце. Мальчишки из Носовой Горы принесли немецкий пулемёт, без затвора, но самый настоящий. У многих карманы были набиты патронами, мы тут же начали показывать у кого какие, меняться. Почти все патроны оказались трофейными, лишь у кого-то была обойма к русскому карабину, и я отдал за неё четыре немецких — с зелёными каёмками на пистонах, с медными гильзами и острыми жёлтыми пулями. Наши патроны были всё же красивее! Саша Андреев показал мне самодельный пистолет — из медной трубки с бойком и пружиной.

— Из мины разряженной вывинтил! — похвастался мой дружок.

Кто-то притащил гранату, кто-то динамитный патрон.

— Учителя идут! — крикнули встревоженно.

Иван Матвеевич был в серой русской шинели, Нина (теперь её нужно было называть Нина Павловна) — в голубоватой трофейной. Лишь сапоги одинаковые — армейские, из кирзы и кожи.

В классе было тепло и светло. Мы с Сашей Андреевым сели поближе к окну, а Саша Тимофеев занял место «на камчатке» — одному досталась целая парта. От радости мы только на головах не ходили...

Нина раздала тетради: каждому по две, одна — в клеточку, другая — в косую линейку. Потом мы получили ручки, перья, ластики, карандаши. Это было неслыханное богатство. И чернила в «непроливайках» были настоящие — фиолетовые.

В тишине что-то упало на пол и покатилося к учительскому столу. Нина нагнулась и подняла итальянскую гранату, какими были вооружены немцы, — серое тяжелое «яйцо», не больше гусиного.

— Сдать оружие! — глухим ровным голосом приказала учительница.

То же самое случилось и в старших классах. На перемене вместе с двумя Сашами я перебрался по кладине через закраек, заглянул в прорубь. Чего только не лежало на песчаном озёрном дне: пулемёт, две ракетницы, дюжина гранат разных систем, динамитный патрон, взрыватели от мин, целые россыпи патронов...

И мне поскорее захотелось вернуться в класс — к нашим партам, к новой чёрной доске, к ярким плакатам и картам на стенах.

У партизан карты были другие, на иных каждый дом обозначен. А на школьных картах мы видели всю страну, там можно было найти и Москву, и Псков, и нашу речку Лученку. Мир словно бы резко расширился. «Правда, — подумал я, — и партизанские карты было бы надо повесить на стену. Где сгорела деревня — нарисовать язык пламени, где был бой — красную звезду. Я сам мог бы нарисовать такую карту, если бы были цветные карандаши...»

Прозвенел последний звонок, но никто не хотел уходить из школы. Дальние вообще решили не возвращаться домой, передали весть, что будут ночевать в школе, благо учителя разрешили... Не ушли и мы с Сашей Андреевым. Мало того, явился наш Серёга и сказал, что останется с нами. Саша Тимофеев ушёл, но в сумерках вернулся — с целым вещевым мешком плотвы.

Уху приготовили в школьном котле. Лука и соли дал Иван Матвеевич. Всё его хозяйство было тут же — в тесной школьной кухне. Нашёлся и хлеб, хватило ложек и алюминиевых мисок. Уха была такой вкусной, что я попросил вторую порцию.

В школе было всё: и топчаны, и подушки, и байковые одеяла. Постелили в кухне, на полу. Нам с Серёгой хватило одного топчана, одного одеяла и одной подушки.

— А вдруг немцы вернутся? — шёпотом спросил Серёга.

— Никогда не вернутся, — ответил я. — Такого быть не может.

— Я тоже так думаю, — согласился братишка. — И в школу пойду.

— Обязательно. Только подрасти надо.

— Подрасту! — успокоил меня Серёга.

Я подумал: «Серёге столько же лет, сколько было мне в начале войны. И то, что не досталось мне, достанется моему брату».

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Матери дали готовый сруб от бункера, телегу тёса. Надо было начинать строить дом. Но как найдёшь плотников, если почти нет мужчин: кто всё ещё воюет, а кто погиб.

В нашей деревне потери были тяжёлыми: на фронте снарядом убило дядю Павла Андреева, погибли Степан и Иван Тимофеевы, Иван и Андрей Павловы — отец в пехоте, сын в партизанском отряде. Был убит и Митя Огурцов, но от его отца пришло письмо — Анисим воевал в инженерных войсках. На наших глазах погибла Тоня Тимофеева, Саша остался со стариками — дедом Василием и бабой Ольгой.

Судьба нашего отца была неизвестна. Мать послала запрос, и ей сообщили, что отец пропал без вести в конце 1943 года.

Мать решила строить дом сама, решительно взялась за работу. Я, как мог, помогал ей.

Серёга куда-то ушёл, но вскоре вернулся — с зелёным ящиком из-под гаубичного снаряда. Потом он нашёл обгорелый ствол от карабина, развёл костёр из щепок, раскалил ствол на углях, прожёг им в ящике леток. С ящиком братишка вскарабкался на берёзу, привязал его телефонным проводом к корявому стволу.



Не успел Серёга спуститься наземь, как в леток нырнул чёрный, как головешка, скворец. Скворчиха тут же опустила на крышку ящика, звонко запела прилётную.

— Вырос наш Сергей, — сказала мать раздумчиво.

Праздник мирной жизни продолжался. Освобождение было зелёного цвета. По полям шла пехота в гимнастёрках с зелёными погонами, в лугах стояли зелёные самолёты, бушевал зелёный пожар травы, зелёным дымом клубились леса.

Но в природе и в людях рядом с радостью жила грусть, печаль по погибшим и погибшему. Поля пугали: в траве прятались мины, жила ещё война. Партизаны стали пехотой, ушли на запад, довоёвывали в чужой стороне.

Ранним утром по деревне шли маршем бойцы. Я стоял у обочины, цепко всматривался в лица пехотинцев. Кто-то протянул мне сухарь, кто-то дал красивую открытку, но меня ничего не радовало. Хотел увидеть отца.

— Надо ждать весточку... — сказала мать, отводя меня в сторону.

Почта не работала три года. Синий почтовый ящик, что висел на елине, был изрешечен пулями: в него от избытка сил стрелял Антип Бородатый, а потом палили каратели.

Иногда люди и получали письма, но их просто передавали из рук в руки, из деревни в деревню.

И вдруг — почтальон. Берегом озера шла девушка в военном ватнике. На боку — настоящая почтовая сумка, тёмная, кожаная, с широким ремнём. На поясе — наган в брезентовой кобуре. До войны наган был лишь у начальника почты.

Со всех сторон к девушке бросились люди. Мать опередила всех. Но письма нам не было. На почтальона смотрели как на живое чудо. И она, улыбаясь, словно награды, раздавала письма — серые и голубые треугольники.

— Может, нам завтра принесут, — молвила мать, беря меня за руку. — В войну письма медленно ходят.

Я стал ожидать почтальона каждый вечер. Девушка приходила в один и тот же час. Но письма от отца всё не было...

— Может, в плену... — размышляла мать. — А может, в госпитале лежит... Всё мне широкая река снится, а он — на песке возле воды. Бывает, письма и не доходят. Разбомбят почтовый вагон, подожгут снарядами машину.

Когда в землянке никого не было, я доставал из жестяной коробки фотографии. На них отец был совсем молодым, с белыми, как сахар, зубами, со смуглым, загорелым лицом. Мать работала как заведённая. Всей деревней перебрали сруб, проконопачили. Когда ставили стропила, я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Я выронил молоток, оглянулся вниз. Около копны мха стоял солдат в короткой шинели. Это был отец — я сразу узнал его.

Узнал по глазам и по улыбке. Лицо неожиданного гостя было белым, на виске темнел шрам, зубы металлические, похожие на пули. Я спрыгнул наземь, прижался к серой шинели. Она была старой, неколкой, с запахом табачных листьев. Отец положил мне на плечо левую руку, правой не было — висел пустой рукав. На брезентовом ремне — фляжка в чехле, за спиной тощий вещевой мешок, какие я сто раз видывал у партизан. Сапоги старые, стоптанные.

Из-за дома выскочил Серёга, замер на месте. Улыбаясь, отец подхватил его уцелевшей рукой, высоко поднял. Под шинелью зазвенели медали...

Мать беззвучно плакала, силы покинули её, поскользнулась на лестнице, чуть не упала. Отец выпустил братишку, бросился к матери.

— Где же ты пропадал, почему не писал? — Мать обняла отца, опустила ему на плечо голову. — В плену был, в госпитале?

— Везде был, расскажу потом... Кто сруб ставил?

— Это из немецкого бункера... А стропила — сами...

— Комяга и сети целы?

— Целы, целы, только еле живы. Новые надо.

— Погодите, я сейчас...

Отец снял с пояса флягу, прошёл к роднику-кипуну за нашим садом, зачерпнул воды, пил долго, короткими глотками, будто парное молоко.

Потом взял топор, поднялся на сруб. И одной рукой работал он так же ловко, как двумя.

— Управимся быстро, дело привычное...

Мать пыталась рассказать о том, как мы жили, но отец отмахнулся:

— Потом, потом... Дай успокоиться.

Весть о том, что вернулся наш отец, за час облетела всю округу. Один за другим подходили взрослые, в стороне табунились мальчишки.

— Отец много чего привёз? — спросил у Серёги какой-то малыш.

— У-у, много. Два миномёта, ящик консервов и хлеба — целую буханку!

Словно по заказу, над полями стояли горы света. Давно не было такой тёплой погоды.

Лучи солнца были как ладонь отца — ласковые, горячие.

Возле озера шла за плугом Матрёна Огурцова. Буланый трофейный мерин медленно плыл по пашне. Плуг был старый, обгоревший на пожаре. Рукоятки — держки из гильз от противотанкового ружья. Мерин не хотел слушаться Матрёну, шёл тяжело и тупо.

— Дай-ка, попробую... — подошёл к Матрёне отец.

Усталая женщина охотно отдала вожжи. На лице её каплями росы горел пот...



Отец накинул вожжи на шею, крепко уцепился за левый держак. Почувяв мужчину, конь пошёл ровно, споро, и плуг глубоко вошёл в лёгкую тёмную землю. Когда стало жарко, отец сбросил шинель. Фляга покачивалась на поясе, и отец отпивал из неё глоток за глотком... А пашня растекалась что разлившаяся река.

Спать легли в новом доме, хотя в нём не было ни потолка, ни крыши.

Наутро меня разбудил треск мотора. Машина, мотоцикл, танки?.. Вскочил, бросился к выходу. По дороге, пылая дымком, катился колёсный трактор. Острые его шпоры сверкали на солнце. За рулём его сидел молодой тракторист. Рядом с ним бился на ветру красный флажок.

Я вспомнил, что партизаны рассказывали про спрятанные в лесу тракторы. Значит, один уже откопали. У дороги с шагомером в руке стоял мой отец, его накануне выбрали бригадиром...

Впереди трактора бежали мальчишки. Всё было как в давний довоенный год. Вместе с трактором в деревню возвращалось что-то такое, что я не мог выразить словами.

